

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

**КОНЕЦ
БЕЛОЙ ГВАРДИИ**
(ДНИ ТУРБИНЫХ)

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„КНИГА ДЛЯ ВСЕХ“
RĪGA, BRIVIBAS IELA 7
ТЕЛ. 31057



МИХ. БУЛГАКОВ

КОНЕЦ БЕЛОЙ ГВАРДИИ

(ДНИ ТУРБИНЫХ)

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КНИГА ДЛЯ ВСЕХ“
РИГА, Ул. Свободы 7

1

9

2

9

Типографія К/О „АТМОДА“
Рига, Бл. Кузнечная 56.

1.

В маленькой спальне Турбина на двух окнах, выходящих на стеклянную веранду, упали темненькие шторы. Комнату наполнил сумрак и Еленина голова засветилась в нем. В ответ ей светилось беловатое пятно на подушке — лицо и шея Турбина. Провод от штепселя змеей сполз к стулу и розовенькая лампочка в колпачке загорелась и день превратила в ночь. Турбин сделал знак Елене прикрыть двери.

— Аняту сейчас же предупредить, чтобы молчала...

— Знаю, знаю... Ты не говори, Алеша, много.

— Сам знаю... Я тихонько... Ах, если рука пропадет!

— Ну что ты, Алеша... лежи, молчи... Пальто той дамы у нас пока будет?

— Да, да. Чтобы Николка не вздумал тащить его. А то на улице... Слышишь... Вообще, ради Бога, не пускай его никуда.

— Дай Бог ей здоровья, — искренно и нежно сказала Елена, — вот, говорят, нет добрых людей на свете...

Слабенькая краска выступила на скулах раненого и глаза уперлись в невысокий белый потолок, потом он перевел их на Елену и, поморщившись, спросил:

— Да, позвольте, а что это за головастик?

Елена наклонилась в розовый луч и вздернула плечами.

— Понимаешь, ну, только что перед тобой, минутки две не больше, явление: Сережин племянник из Житомира. Ты же слышал: Суржанский... Ларион... Ну, знаменитый Лариосик.

— Ну...

— Ну, приехал к нам с письмом. Какая-то драма у них. Только что начал рассказывать, как она тебя привезла.

— Птица какая-то, Бог его знает...

Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к постели.

— Что птица. Он, ведь, жить у нас просится. Я уж не знаю, как и быть.

— Жи-ить?...

— Ну, да... Только молчи и не шевелись, прошу тебя, Алеша... Мать умоляет, пишет, ведь, этот самый Лариосик, кумир ее... Я такого балбеса, как этот Лариосик, в жизнь свою не видала. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз. Только две тарелки осталось.

— Ну, вот. Я уж не знаю, как быть...

В розовой тени долго слышался шопот. В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст — взбудораженная Аня выметала синий сервиз. Наконец, было решено в шопоте. В виду того, что теперь в городе будет происходить чорт знает что, и очень возможно, что придут реквизируют комнаты, в виду того, что денег нет, а за Лариосика будут платить, — пустить Лариосика. Но обязать его соблюдать правила турбинской жизни. Относительно птицы — испытать. Ежели птица несносна в доме, потребовать ее удаления, а хозяина ее оставить. По поводу сервиза, в виду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется и вообще это хамство и мещанство — сервиз предать забвению. Пустить Лариосика в книжную, поставить там кровать с пружинным матрацем и столик...

Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на это место, где некогда на буфете помещалось стопкой двенадцать тарелок. Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь. Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством.

— Нету кожи в Житомире, — растерянно говорил Лариосик, — понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я привык носить, нету. Я кликнул

клич сапожникам, предлагая, какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось...

Увидя Елену, Лариосик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так:

— Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазин, кликну клич и у вас будет сегодня же сервиз. Я не знаю, что мне и говорить. Как перед вами извиниться. Меня безусловно следует бить за сервиз. Я ужасный неудачник, — отнесся он к Николке. — И сейчас же в магазины, — продолжал он Елене.

— Я вас очень прошу ни в какие магазины не ездить, тем более, что все они, конечно, закрыты. Да позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в Городе происходит?

— Как же не знать! — воскликнул Лариосик, — я, ведь, с санитарным поездом, как вы знаете из телеграммы.

— Из какой телеграммы? — спросила Елена, — мы никакой телеграммы не получили.

— Как? — Лариосик открыл широкий рот, — не по-лу-чили. А-га. То-то я смотрю, — он повернулся к Николке, — что вы на меня с таким удивлением... Но позвольте... Мама дала вам телеграмму в шестьдесят три слова.

— Ц... Ц... 63 слова, — поразился Николка, — какая жалость. Ведь телеграммы теперь так плохо ходят. Совсем, вернее, не ходят.

— Как же теперь быть? — огорчился Лариосик, — вы разрешите мне у вас... — он беспомощно огляделся и сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему очень нравится и никуда он уходить бы не хотел.

— Все устроено, — ответила Елена и милостиво кивнула, — мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите у нас какое несчастье...

Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволокло слезной дымкой.

— Елена Васильевна, — с чувством сказал он, — располагайте мной, как вам угодно. Я, знаете ли, могу не спать по три и четыре ночи подряд.

— Спасибо, большое спасибо.

— А теперь, — Лариосик обратился к Николке, — не могу ли я у вас попросить ножницы.

Николка, вз'ерошенный от удивления и интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лариосик взялся за пуговицу френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке, — впрочем, виноват, на минутку в вашу комнату...

В Николкиной комнате Лариосик снял френч, обнаружив необыкновенную грязную рубашку, вооружился ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый сверток денег. Этот сверток он торжественно принес в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря:

— Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание.

— Почему же такая спешность, — краснея спросила Елена, — это можно было бы и после...

Лариосик горячо запротестовал:

— Нет, нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент деньги всегда остро нужны, я это прекрасно понимаю. — Он развернул пакет, при чем изнутри выпала карточка какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и со вздохом спрятал в карман. — Да, оно и лучше у вас будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канареечного семени для птицы...

Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у нее в глазах, настолько обстоятельны и уместны были действия Лариосика.

«Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала», — подумала она, — вежлив и добросовестен, только чужак какой-то. Сервиз безумно жалъ».

«Вот тип, — думал Николка. Чудесное появление Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли.

— Здесь 8 тысяч, — говорил Лариосик, двигая по столу пачку, похожую на яичницу с луком, — если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще.

— Нет, нет, потом, отлично, — ответила Елена. — Вы вот что: я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну и сейчас же купайтесь. Но ска-

жите, как же вы приехали, как же вы пробрались, не понимаю? — Елена стала комкать деньги и прятать их в громадный карман капота.

Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания.

— Это кошмар! — воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве, — я ведь девять дней... нет, виноват, десять... позвольте... воскресенье, ну да, понедельник... одиннадцать дней ехал от Житомира...

— Одиннадцать дней! — вскричал Николка, — видишь, — почему-то укоризненно обратился он к Елене.

— Да-с, одиннадцать... Выехал я, поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И, вот, приезжаем мы на станцию, как ее ну, вот, ну, Господи, забыл... все равно... и тут меня, вообразите, хотели расстрелять. Явились эти петлюровцы, с хвостами...

— Синие? — спросил Николка с любопытством.

— Красные... да, с красными... и кричат: слазь. Мы тебя сейчас расстреляем. Они решили, что я офицер и спрятался в санитарном поезде. А у меня протекция просто была... у мамы к доктору Курицкому.

— Курицкому, — многозначительно воскликнул Николка, — тек-с, — кот... и кит. Знаем.

— Кити, кот, кити, кот, — за дверями глухо отозвалась птичка.

— Да, к нему... он и привел поезд к нам в Житомир... Боже мой. Я тут начинаю Богу молиться. Думаю, все пропало. И, знаете ли. Птица меня спасла. Я говорю, я не офицер. Я учетный птицевод, показываю птицу... Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло — иди себе, бисов птицевод. Вот наглец. Я бы его убил, как джентльмен, но сами понимаете...

— Еле... — глухо слышалось из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, не дослушав, бросилась туда.



15 декабря солнце по календарю угасает в 3½ часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с трех часов. Но на лице Елены в три часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни — половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой.

На лице Николки показались колючие и нелепые без двадцати час оттого, что в Николкиной голове был хаос и путанница, вызванная важными загадочными словами. «Мало-Провальная...» словами, произнесенными умирающим на боевом перекрестке, вчера, словами, которые было необходимо раз'яснить не позже, чем в ближайшие дни. Хаос

и трудности были вызваны и важным падением с неба в жизнь Турбиных загадочного и интересного Лариосика, и тем обстоятельством, что стряслось чудовищное и величественное событие: Петлюра взял Город. Тот самый Петлюра и поймите, — тот самый Город. И что теперь будет происходить в нем, для ума человеческого, даже самого развитого, непонятно и непостижимо. Совершенно ясно, что вчера стряслась отвратительная катастрофа — всех наших перебили, захватили врасплох. Кровь их, несомненно, вопиет к небу — это раз. Преступники-генералы и штабные мерзавцы заслуживают смерти — это два. Но, кроме ужаса, нарастает и жгучий интерес, — что же в самом деле, будет? Как будут жить семьсот тысяч людей здесь, в Городе, под властью загадочной личности, которое носит такое страшное и некрасивое имя — Петлюра. Кто он такой? Почему... Ах, впрочем, все это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, с кровавым... Эх... эх... ужаснейшая вещь, я вам доложу. Точно, правда, ничего неизвестно, но, вернее всего, и Мышлаевского и Карася можно считать конченными.

Николка на скользком и сальном столе колот лед широким косарем. Льдины или раскалывались с хрустом или выскальзывали из-под косаря и прыгали по всей кухне, пальцы у Николки занемели. Пузырь с серебристой крышечкой лежал под рукой.

— Мало... Провальная... — шевелил Николка губами и в мозгу его мелькали образы Най-Турса, рыжего Нерона и Мышлаевского. И как

только последний образ, в разрезной шинели, пронизывал мысли Николки, лицо Анюты, хлопочущей в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственней показывало без двадцати пяти пять — час угнетения и печали. Целы ли разноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорами звоном — дрень... дрень...

— Неси лед, — сказала Елена, открывая дверь в кухню.

Показалась необычайно заслуживающей почтения и внимания красавица Елена. И Николка очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучил момент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и обратно и стал помогать ему устанавливать и раздвигать пружинную узкую кровать в книжной комнате.

— У вас очень открытое лицо, располагающее к себе, — сказал вежливо Лариосик, и до того засмотрелся на открытое лицо, что не заметил, как сложил сложную гремящую кровать и ущемил между двумя створками Николкину руку. Боль была так сильна, что Николка взвыл, правда, глухо, но настолько сильно, что прибежала, шурша, Елена. У Николки, напрягающего все силы, чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные слезы. Елена и Лариосик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали ее в разные стороны, освобождая посиневшую кисть. Лариосик сам чуть не заплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах.

— Боже мой! — сказал он, искажая свое и без того печальное лицо. — Что же это со мной делается?! До чего мне не везет... Вам очень больно? Простите меня, ради Бога.

Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пустила ему на руку, по его распоряжению, струю холодной воды из крана.

После того, как хитрая патентованная кровать расщелкнулась и разложилась, и стало ясно, что особенного повреждения Николкиной руки нет, Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была еще страсть к книгам. Здесь же на открытых многочисленных шкафах, тесным строем стояли сокровища. Зелеными, красными, тисненными золотом и желтыми обложками, и черными папками со всех четырех стен на Лариосика глядели книги. Уж давно разложилась и застелилась постель и возле нее стоял стул и на спинке его висело полотенце, а на сидении среди всяких необходимых мужчине вещей — мыльницы, папирос, спичек, часов, утвердилось в наклонном положении таинственная женская карточка, а Лариосик все еще находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточки, у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплеты, не зная за что скорее взяться — за посмертные записки Пиквинского клуба или за Русский Вестник 1871 года. Стрелки стояли на двенадцати.

Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль. Поэтому часы не били двенадцать раз, стояли молча стрелки и были похожи на сверкающий меч, обернутый в траурный флаг.

Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик. В три часа в спальне Турбина он показал 39. Елена, побледнев, хотела стряхнуть его, но Турбин повернул голову, повел глазами и слабо, но настойчиво произнес: «Покажи». Елена молча и неохотно подала ему термометр. Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул.

В пять часов он лежал с холодным, серым мешком на голове и в мешке таял и плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели.

— Тридцать девять и шесть... здорово, — говорил он, изредка облизывая сухие, потрескавшиеся губы. — Та-ак... Все может быть... Но во всяком случае практике конец... надолго. Лишь бы руку-то сохранить... а то, что я без руки...

— Алеша, молчи, пожалуйста, — просила Елена, оправляя у него на плечах одеяло... Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху у самой левой подмышки тянулся и расползался по телу сухой, колючий жар. Порой он наполнял всю грудь и туманил голову, но ноги неприятно леденели. К вечеру, когда всюду зажглись лампы и давно в мол-

чании и тревоге отошел обед трех — Елены, Николки и Лариосика, — ртутный столб, разбухая и рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления 40,2. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассевшийся на одеяле, а теперь она превратилась в желтые струны, которые потянулись, как водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, оступела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди порою превращалась в ледяной ножичек, сверлящий, где-то в легком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пузырь и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненный невольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место палящей свече, жар тогда наливал тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и раненый просил — «пить». То Николкино, то Еленино, то Лариосиково лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу стянулись и стали, как у Елены, — ровно половина шестого. Николка поминутно выходил в столовую — свет почему-то горел в этот вечер тускло и тревожно — и смотрел на часы. Тонкрх... тонкрх... сердито и предостерегающе ходили часы с хрипотой, и стрелки их показывали то 9, то $9\frac{1}{4}$, то $9\frac{1}{2}$...

— Эх, эх, — вздыхал Николка и брел, как сонная муха из столовой через прихожую мимо спальни Турбина в гостиную, а оттуда в кабинет и выглядывал, отвернув белые занавески, через балконную дверь на улицу... «Чего доброго, не струсил бы врач... не придет...» — думал он. Улица кривая и крутая была пустынное, чем все эти дни, но все же уж не так ужасна. И шли изредка и скрипели понемногу извозчичьи сани. Но редко... Николка соображал, что придется, пожалуй, итти... И думал, как уломать Елену.

— Если до десяти с половиной он не придет, я пойду сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежурить у Алеши... Молчи, пожалуйста... Пойми, у тебя юнкерская физиономия... А Лариосику дадим штатское Алешино... И его с дамой не тронут...

Лариосик суетился, изъявлял готовность пожертвовать собой и итти одному, и пошел надевать штатское платье.

Нож совсем пропал, но жар пошел гуще — подавал тиф на каменку и в жару пришла уже раз не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером.

— А, ты знаешь, он, вероятно, кувырнулся. Серый? — вдруг отчетливо и строго молвил Турбин, и посмотрел на Елену внимательно, — это неприятно... Вообще, в сущности, все птицы. В кладовую бы в теплую убрать, да посадить, в тепле и опомнились бы.

— Что ты, Алеша? — испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей веет теплом от лица Турбина, — птица? Какая птица?

Лариосик в черном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугался, глаза его жалобно забегали. На цыпочках, балансируя, он выбежал из спальни через прихожую в столовую, через книжную повернул в Николкину и там, строго взмахивая руками, кинулся к клетке на письменном столе и набросил на нее черный плат... Но это было лишнее — птица давно спала, в углу, свернувшись в оперенный клубок и молчала, не ведая никаких тревог. Лариосик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книжной в столовую.

— Неприятно... ох, неприятно, — беспокойно говорил Турбин, глядя в угол, — напрасно я застрелил его... Ты, слушай... — он стал освобождать здоровую руку из-под одеяла... — Лучший способ пригласить и об'яснить, чего мол, мечешься, как дурак... Я, конечно, беру на себя вину... Все пропало и глупо...

— Да, да, — тяжело молвил Николка, а Елена повесила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась, он застонал, потом злобно сказал: — Уберите тогда...

— Может быть вынести ее в кухню? Я, впрочем, закрыл ее, она молчит, — тревожно зашептал Елене Лариосик.

Елена махнула рукой: «Нет, нет, не то...» Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы его вз'ерошились, он глядел на циферблат: часы показывали около десяти. Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую.

— Что, как Алексей Васильевич? — спросила она.

— Бредит, — с глубоким вздохом ответил Николка.

— Ах ты, Боже мой, — зашептала Анюта, — чего же доктор не едет?

Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал внушать ей:

— Воля твоя, а я отправлюсь за ним. Если нет его, надо взять другого. Десять часов. На улице совершенно спокойно.

— Подождем до половины одиннадцатого, — качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шопотом, — другого звать неудобно. Я знаю, этот придет.

Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале одиннадцатого поместилась в узкую спаленку. Чорт знает что. Совершенно невысказуемо будет жить. Она заняла все стены до стены, так, что левое колесо прижалось к постели. Невозможно жить, нужно будет лазить между тяжелыми спицами, потом сгибаться в дугу и через второе правое колесо протискиваться, да еще с вещами, а вещей навешано на левой руке, Бог знает сколько. Тянут руку к земле, бичевой режут подмышку. Мортиру убрать

невозможно, вся квартира стала мортирной, согласно распоряжения, и бестолковый полковник Малышев и ставшая бестолковой Елена, глядящая из колес, ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, самого-то больного человека перевести в другие сносные условия существования, туда, где нет никаких мортир. Самая квартира стала, благодаря проклятой, тяжелой и холодной штуке, как постоянный двор. Колокольчик на двери звонит часто... брынь... и стали являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь, в ушастой шапке и с золотыми погонами и притащил с собой ворох бумаг. Турбин прикрикнул на него и Малышев ушел в дуло пушки и сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым в своем упрямстве. Николка давал пить, но не холодную, витую струю из фонтана, а лил теплую противную воду, отдающую кастрюлей.

— Фу... гадость эту... перестань, — бормотал Турбин.

Николка и пугался и брови поднимал, но был упрям и неумел. Елена не раз превращалась в черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника и вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами, где-то возле лба и от этого было очень мало облегченья. Еленины руки, обычно теплые и ловкие, теперь, как грабли, расхаживали длинно, дурацки и делали все самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цейх-гаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена

была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина. Да еще садилась... что с ней... на конец этой палки и та под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться... А попробуйте жить, если круглая палка врезалась в тело. Нет, нет, нет, они несносны, и как можно громче, но вышло тихо, Турбин позвал:

— Юлия.

Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми эполетами на потрете сороковых годов, не вняла зову больного человека. И совсем бы бедного больного человека замучили серые фигуры, начавшие хождение по квартире и спальне, наравне с самими Турбиными, если бы не приехал толстый, в золотых очках — настойчивый и очень умелый. В честь его появления в спальне прибавился еще один свет, — свет стеариновой трепетной свечи в старом тяжелом и черном шандале. Свеча мерцала, то на стуле, то ходила вокруг Турбина, а над ней ходил по стене безобразный Лариосик, похожий не летучую мышь с обрезанными крыльями. Свеча наклонилась, оплывая белым стеарином. Маленькая спальня пропахла тяжелым запахом иода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты — рождественского снега. Турбину толстый, золотой с теплыми руками сделал чудодейственный укол в здоровую руку и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мортиру выдвинули на веранду, причем сквозь стекла, завешенные, ее чер-

ное дуло отнюдь не казалось страшным. Стало свободнее дышать, потому, что уехало громадное колесо и не требовалось лазить между спицами. Свеча потухла и со стены исчез угловатый черный, как уголь Ларион, Лариосик Суржанский из Житомира, а лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающе упрямым, быть может, потому, что стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без двадцати пять пошло времячко, а часы в столовой, хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а попрежнему — чистым, солидным баритоном били — тонк. И башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галлов Людовика XIV били на башне — бом... Полночь... слушай... полночь... слушай... Били предостерегающе, и чьи то алебарды позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, ибо башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует.

Только в очаге покоя Юлия эгоистка, порочная, но обольстительная женщина, согласна появиться. Она и появилась, ее нога в черном чулке, край черного отороченного мехом ботика мелькнул на легкой кирпичной лесенке и торопливому

стуку и шороху ответил плещущий колокольчиками гавотт оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин.



В полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни и с груди Саардамского Плотника исчезли слова:

«Да здравствует Россия...

Да здравствует самодержавие».

«Бей Петлюру».

Затем при горячем участии Лариосика были произведены и более важные работы. Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из семи патронов старший шесть где-то расстерял.

— Здорово... — прошептал Николка.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лариосик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюры интеллигентный человек вообще, а джентльмен, подписавший векселей на семьдесят пять тысяч и посылающий телеграммы в 63 слова, в частности. Машинным маслом и керосином наилучшим образом были сма-

заны и Най-Турсов кольт и Алешин браунинг. Лариосик, подобно Николке, засучил рукава и помогал смазывать и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной, ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что обыски при всех властях происходят от 2 ч. 30 м. ночи до 6 ч. 15. м. утра зимой и от 12 ч. ночи до четырех утра летом. Все же работа задержалась, благодаря Лариосику, который, знакомясь с устройством десятизарядного пистолета системы Кольт, вложил в ручку обойму не тем концом и, чтобы вытащить ее, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие: коробка, со вложенными в нее револьверами, погонями Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея, коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам облепленная липкими полосами электрической изоляции, не пролезала в форточку.

Дело было вот в чем: прятать, так прятать... Не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать, Николка сообразил еще днем. Стена дома ном. 13 подходила к стене соседнего 11-го ном. почти вплотную — оставалось не более аршина расстояния. Из дома ном. 13 в этой стене было только три окна—одно из Николкиной угловой, два из соседней книжной, совершенно ненужные (все равно темно) и внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решеткой из кладовки Василисы, а стена

соседнего ном. 11 совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье в аршин, темное и невидное даже с улицы, и недоступное со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз и будучи мальчишкой, Николка, играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей, и отлично запомнил, что по стене тринадцатого номера тянется до самой крыши ряд костылей. Вероятно раньше, когда 11 номера еще не существовало, на этих костылях держалась пожарная лестница, а потом ее убрали. Костыли же остались. Высунув сегодня вечером руку в форточку, Николка и двух секунд не шарил, а сразу нащупал костыль. Ясно и просто. Но, вот, коробка, обвязанная накрест тройным слоем прекрасного шпагата, так называемого сахарного, с приготовленной петлей, не лезла в форточку.

Ясное дело, надо окно вскрывать, — сказал Николка, слезая с подоконника.

Лариосик отдал дань уму и находчивости Николки, после чего приступил к распечатыванию окна. Эта каторжная работа заняла не менее полчаса, распухшие рамы не хотели открываться. Но, в конце концов, все таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую, при чем на Лариосиковой стороне лопнуло длинной извилистой трещиной стекло.

— Потушите свет, — скомандовал Николка.

Свет погас и страшнейший мороз хлынул в комнату. Николка высунулся до половины в черное

обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль. Коробка прекрасно повисла на двухаршинном шпагате. С улицы заметить никак нельзя потому, что брандмауэр 13 номера подходит к улице косо, не под прямым углом, и потому, что высоко висит вывеска швейной мастерской. Можно заметить только, если залезть в щель. Но никто не залезет ранее весны, потому, что со двора намело гигантские сугробы, а с улицы прекрасный забор и, главное, идеально то, что можно контролировать, не открывая окна; просунул руку в форточку, и готово: можно потрогать шпагат, как струну. Отлично.

Вновь зажегся свет, и, размяв на подоконнике замазку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно наново. Даже, если бы каким-нибудь чудом и нашли, то всегда готов ответ. «Позвольте. Это чья же коробка. Ах, револьверы... наследник...»

— Ничего подобного. Знать не знаю и ведать не ведаю. Чорт его знает, кто повесил. С крыши залезли и повесили. Мало ли кругом народу. Так то-с. Мы люди мирные, никаких наследников...

— Идеально сделано, клянусь Богом, — говорил Лариосик.

Как не идеально. Вещь под руками и в то же время вне квартиры.

Было 3 часа ночи. В эту ночь, повидимому, никто не придет. Елена с тяжелыми истомленными веками вышла на ципочках в столовую. Николка должен был ее сменить. Николка с трех до шести, а с шести до девяти Лариосик.

Говорили шепотом.

— Значит так: тиф, — шептала Елена, — имейте в виду, что сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, тиф... Вероятно, она не поверила, уж очень у нее глазки бегали... Все расспрашивала, — как у нас, да где были ваши, да не ранили ли кого. Насчет раны ни звука.

— Ни, ни, ни, — Николка даже руками замахал, — Василиса такой трус, какого свет не видал. Ежели в случае чего, она так и ляпнет, кому угодно, что Алексея ранили, лишь бы только себя выгородить.

— Подлец, — сказал Лариосик, — это подло.

В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно, черты лица обострились и утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя дома, разошлись по своим делишкам, окончательно убрали пушку. Если кто даже совершенно посторонний и появлялся, то все таки вел себя прилично, стараясь связаться с людьми и вещами, коих законное место всегда в квартире Турбиных. Раз появился полковник Малышев, посидел в кресле, но улыбался таким

образом, что все мол, хорошо, и будет к лучшему, а не бубнил грозно и зловеще и не набивал комнату бумагой. Правда, он жег документы, но не посмел тронуть диплом Турбина и карточки матери, да и жег на приятном и совершенно синеньком огне от спирта, а это огонь успокоительный, потому что за ним, обычно, следует укол. Часто звонил звоночек к мадам Анжу.

— Брынь... — говорил Турбин, намереваясь передать звук звонка тому, кто сидел в кресле, а сидели по очереди, то Николка, то неизвестный с глазами монгола (не смел буяннить вследствие укола), то скорбный Максим, седой и дрожащий. — Брынь... — раненный говорил ласково и строил из гибких теней движущуюся картину мучительную и трудную, но заканчивающуюся необычайным и радостным больным концом.

Бежали часы, крутилась стрелка в столовой и, когда на белом циферблате короткая и широкая пошла к 5-ти, настала полудрема. Турбин изредка шевелился, открывал прищуренные глаза и неразборчиво бормотал:

— По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу, ослабею, упаду... А ноги ее быстрые... ботики... по снегу... Слод оставишь... волки... Брынь... брынь...

4.

«Брынь», в последний раз Турбин услышал, убегая по черному ходу из магазина неизвестно где

находящейся и сладострастно пахнувшей духами мадам Анжу. Звонок. Кто то только что явился в магазин. Быть может, такой же, как сам Турбин, заблудший, отставший, свой, а может быть, и чужие — преследователи. Во всяком случае вернуться в магазин невозможно. Совершенно лишнее геройство.

Скользкие ступени вынесли Турбина во двор. Тут он совершенно явственно услышал, что стрельба тарахтела совсем недалеко, где то на улице, ведущей широким скатом вниз к Крещатику, да вряд ли и не у музея. Тут же стало ясно, что слишком много времени он потерял в сумеречном магазине на печальные размышления и что Малышев был совершенно прав, советуя ему поторопиться. Сердце забилося тревожно.

Осмотревшись, Турбин убедился, что длинный и бесконечно-высокий желтый ящик дома, приютившего мадам Анжу, выпирал на громадный двор и тянулся этот двор вплоть до низкой стенки, отделявшей соседнее владение управления железных дорог. Турбин, прищурившись, огляделся и пошел, пересекая пустыню, прямо на эту стенку. В ней оказалась калитка, к великому удивлению Турбина, не запертая. Через нее он попал в противный двор управления. Глупые дырки управления неприятно глядели, и ясно чувствовалось, что все управление вымерло. Под гулким сводом, пронизывающим дом, по асфальтовой дороге, доктор вышел на улицу. Было ровно четыре часа дня на старинных часах на башне дома напротив. На-

чало чуть-чуть темнеть. Улица совершенно пуста. Мрачно оглянулся Турбин, гонимый предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз, туда, где громоздились, присыпанные снегом в жидком сквере, Золотые ворота. Один лишь пешеход в черном пальто пробежал навстречу Турбину с испуганным видом и скрылся.

Улица, пустая, вообще производит ужасное впечатление, а тут еще где то под ложечкой томило и сосало предчувствие. Злобно морщась, чтобы преодолеть нерешительность — ведь все равно идти нужно, по воздуху домой не перелетишь, — Турбин приподнял воротник шинели и двинулся.

Тут он понял, что отчасти томило — внезапное молчание пушек. Две последних недели непрерывно они гудели вокруг, а теперь в небе наступила тишина. Но зато в городе, и именно там, внизу, на Крещатике, ясно пересыпалась пачками стрельба. Нужно было бы Турбину повернуть сейчас от Золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским собором, тихонечко и выбрался бы к себе, переулками на Алексеевский спуск. Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по иному совсем, но вот, Турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах... Тянет к холодку... к обрыву. И так потянуло я музею. Непременно понадобилось увидеть, хоть издали, что там возле него творится. И, вместо того, чтобы свернуть, Турбин сделал десять шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу тревога крикнула внутри и очень

отчетливо малышевский голос шепнул: «беги». Турбин повернул голову вправо и глянул вдаль к музею. Успел увидеть кусок белого бока, насупившиеся купола, какие то мелькавшие вдали черные фигурочки... Больше все равно ничего не успел увидеть.

В упор на него, по Прорезной покатой улице, с Крещатика, затянутого далекой морозной дымкой, поднимались, рассыпавшись во всю ширину улицы, серенькие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко — шагах в тридцати. Мгновенно стало понятно, что они бегут уже давно, и бег их утомил. Вовсе не глазами, а каким-то безочетным движением сердца Турбин сообразил, что это петлюровцы.

«По-пал», — отчетливо сказал под ложечкой голос Малышева.

Затем несколько секунд вывалились из жизни Турбина, и что во время их происходило, он не знал. Ощутил он себя лишь за углом, на Владимирской улице, с головой, втянутой в плечи, на ногах, которые его несли быстро от рокового угла Прорезной, где конфетница «Маркиза».

Ну-ка, ну-ка, ну-ка, еще... еще...» застучала в висках кровь.

Еще немножечко молчания сзади. Превратиться бы в лезвие ножа, или влипнуть в стену. Ну-ка... Но молчание прекратилось — его нарушило совершенно неизбежное:

— «Стой! — прокричал сильный голос в холодную спину — Турбину.

«Так», оборвалось под ложечкой.

— Стой! — серьезно повторил голос.

Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина. Иду, мол, по своим делам... Оставьте меня в покое... Преследователь был шагах в пятнадцати и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские раскосые глаза. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной, зловещей радостью.

— Тю — крикнул он, — бачь, Петро: офицер. — Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, охотник, при самой дороге увидел зайца.

«Что так-кое? Откуда известно?» — грянуло в Турбинской голове, как молотком.

Винтовка второго превратилась вся в маленькую черную дырку, не более гривенника. Затем Турбин почувствовал, что сам он обернулся в стрелу на Владимирской улице и что губят его валенки. Сверху и сзади, шипя, ударило в воздухе — ч-чах...

— Стой. Ст... Тримай! — Хлопнуло. — Тримай офицера!! — загремела и заулюлюкала вся Владимирская. Еще два раза весело трахнуло, разорвав воздух.

Достаточно погнать человека под выстрелами и он превращается в мудрого волка; на смену очень слабому и в действительно трудных случаях ненуж-

ному уму, вырастает мудрый зверинный инстинкт. По волчьи обернувшись на угонке на углу Мало-Провальной улицы, Турбин увидел, как черная дырка сзади оделась совершенно круглым и бледным огнем и, наддав ходу, он свернул в Мало-Провальную, второй раз за эти пять минут резко повернув свою жизнь.

Инстинкт: гонятся настойчиво и упорно, не отстанут, настигнут и настигнув, совершенно неизбежно, — убьют. Убьют, потому что бежал, в кармане ни одного документа и револьвер, серая шинель; убьют, потому что в бегу раз свезет, два свезет, а в третий раз — попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз. Значит, конечно; еще пол минуты и валенки погубят. Все непременно, а раз так — страх прямо через все тело и через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной водой вернулась ярость и кипятком вышла изо рта на бегу. Уже совершенно по волчьи косил на бегу Турбин глазами. Два серых, за ними третий, выскочили из-за угла Владимирской, и все трое вперебой сверкнули. Турбин замедлил бег, скаля зубы, три раза выстрелил в них, не целясь. Опять наддал ходу, смутно впереди себя увидел мелькнувшую под самыми стенами у водосточной трубы хрупкую черную тень, почувствовал, что деревянными клещами кто-то рванул его за левую подмышку, отчего тело его стало бежать странно, косо, боком, неровно. Еще раз обернувшись, он, не спеша, выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле:

«Седьмая — себе. Еленка рыжая и Николка. Кончено. Будут мучить. Погоны вырежут. Седьмая себе».

Боком стремясь, чувствовал странное: револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуха, больше ничего не выйдет. До излома самой фантастической улицы в мире Турбин все же дорвался, исчез за поворотом, и не надолго получил облегчение. Дальше безнадежно: глуха запертая решотка, вон, ворота громады заперты, вон, заперто... Он вспомнил веселую дурацкую поговорку: «Не теряйте, куме силы, опускайтесь на дно».

И тут увидел ее в самый момент чуда, в черной мшистой стене, ограждавшей наглухо смежный узор деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту стену и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшими от ужаса глазами, прокричала:

— Офицер! Сюда. Сюда...

Турбин, на немного скользящих валенках, дыша разодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал медленно к спасительным рукам и вслед за ними провалился в узкую щель калитки в деревянной черной стене. И все изменилось сразу. Калитка под руками женщины в черном влипла в стену и щеколда захлопнулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турбина. В них он смутно прочитал решительность, действие и черноту.

— Бегите сюда. За мной бегите, — шепнула женщина, повернулась и побежала по узкой кирпичной дорожке. Турбин очень медленно побежал за ней. На левой руке мелькнули стены сараев и женщина свернула. На правой руке какой-то белый сказочный многоярусный сад. Низкий заборчик перед самым носом, женщина проникла во вторую калиточку. Турбин задыхаясь, за ней. Она захлопнула калитку, перед глазами мелькнула нога, очень стройная, в черном чулке, подол взмахнул, и ноги женщины легко понесли ее вверх по кирпичной лесенке. Обострившимся слухом Турбин услышал, что там, где то сзади за их бегом осталась улица и преследователи. Вот... вот, только что они проскочили за поворот и ищут его. «Спасла бы... спасла бы... — подумал Турбин, — но, кажется не добегу... сердце мое». Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом все чуть-чуть закружилось. Женщина наклонилась и подхватила Турбина под правую руку...

— Еще... еще немного! — вскрикнула она; левой трясущейся рукой открыла третью низенькую калиточку, протянула за руку спотыкающегося Турбина, и бросилась по аллейке. «Ишь, лабиринт... словно нарочно», очень мутно подумал Турбин и оказался в белом саду, но уже где то высоко и далеко от роковой Провальной. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится. «Спасла бы, но тут вот и

конец — кончик... ноги слабеют...» Увиделись расплывчато купы девственной и нетронутой сирени, под снегом, дверь, стеклянный фонарь старинных сеней, занесенный снегом. Услышан был еще звон ключа. Женщина все время была тут, возле правого бока, и уже из последних сил, в нитку втянулся за ней Турбин в фонарь. Потом через второй звон ключа во мрак, в котором обдало жилым, старым запахом. Во мраке, над головой очень тускло загорелся огонек, пол поехал под ногами влево... Неожиданные ядовито зеленые с огненным ободком клочья пролетели вправо перед глазами, и сердцу в полном мраке полегчало сразу...



В тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых шляпочек. Живой холод течет за пазуху, благодаря этому, больше воздуху, а в левом рукаве губительное влажное и неживое тепло. «Вот в этом-то вся суть. Я ранен». Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу не переведешь — это она льет и брызжет водой.

— Ради Бога, — сказал над головой грудной слабый голос, — глотните, глотните. Вы дышите? Что-же теперь делать?

Стакан стукнул о зубы и с клокотом Турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидел

светлые завитки волос и очень черные глаза близко. Сидящая на корточках женщина поставила стакан на пол и, мягко обхватив затылок, стала поднимать Турбина.

«Сердце-то есть? — подумал он, — кажется, оживаю... может, и не так много крови... надо бороться». Сердце било, но трепетное, частое, узлами вязалось в бесконечную нить, и Турбин сказал слабо:

— Нет. Сдирайте все и, чем хотите, но сию минуту затяните жгутом...

Она, стараясь понять, расширила глаза, поняла, вскочила и кинулась к шкафу, оттуда выбросила массу материи.

Турбин, закусив губу, подумал: «Ох, нет пятна на полу, мало, к счастью, кажется, крови», извиваясь при ее помощи, вылез из шинели, сел, стараясь не обращать внимания на головокружение. Она стала снимать френч.

— Ножницы, — сказал Турбин.

Говорить было трудно, воздуху не хватало. Та исчезла, взметнув шелковым черным подолом и в дверях сорвала с себя шапку и шубку. Вернувшись, она села на корточки и ножницами, тупо и мучительно в'едаясь в рукав, уже обмякший и жирный от крови, распорол его и высвободила Турбина. С рубашкой справилась быстро. Весь левый рукав был густо пропитан, густо красен и бок. Тут закапало на пол.

— Рвите смелей...

Рубаха слезла клоками, и Турбин белый лицом, голый и желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой потряс левое плечо, сквозь зубы сказал: «Слава Бо... цела кость... Рвите полосу или бинт».

— Есть бинт, — радостно и слабо крикнула она. Исчезла, вернулась, разрывая пакет со словами:

— И никого, никого... Я одна...

Она опять присела. Турбин увидал рану. Это была маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внутренней поверхности, там, где рука прилегает к телу. Из нее сочилась узенькой струйкой кровь.

— Сзади есть? — очень отрывисто, лаконически, инстинктивно сберегая дух жизни, спросил.

— Есть, — она ответила с испугом.

— Затянете выше... тут... спасете.

Возникла никогда еще не испытанная боль, кольца зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу. Она затянула, он помогал зубами и правой рукой и жгучим узлом, таким образом, выше раны обвили руку. И тотчас перестала течь кровь...

• •
°

Женщина перевела его так: он стал на колени и правую руку закинул ей на плечо, тогда она помог-

ла ему стать на слабые, дрожащие ноги и повела, поддерживая его всем телом. Он видел кругом темные тени полных сумерек в какой-то очень низкой старинной комнате. Когда же она посадила его на что-то мягкое и пыльное, под ее рукой с боку вспыхнула лампа под вишневым платком. Он разглядел узоры бархата, край двубортного сюртука на стене в раме и желто-золотой эполет. Простирая к Турбину руки и тяжело дыша от волнения и усилий, она сказала:

— Коньяк есть у меня... Может быть, нужно... Коньяк.

Он ответил:

— Немедленно...

И повалился на правый локоть.

Коньяк, как будто, помог, по крайней мере, Турбину показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет плечо, перетерпит. Женщина, стоя на коленях, бинтом завязала раненую руку, сползла ниже к его ногам и стащила с него валенки. Потом принесла подушку и длинный, пахнущий сладким давним запахом, японский с диковинными букетами халат.

— Ложитесь, — сказала она.

Лег покорно, она набросила на него халат, сверху одеяло и стала у узкой отоманки, всматриваясь ему в лицо.

Он сказал:

— Вы... вы замечательная женщина. — После молчания: — я полежу немного, пока вернутся си-

лы, поднимусь и пойду домой... Потерпите еще немного беспокойство.

В сердце его заполз страх и отчаяние: «Что с Еленой? Боже, Боже... Николка. За что Николка погиб. Наверно погиб...»

Она молча указала на низенькое оконце, завешенное шторой с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и ясно хлопнушки выстрелов.

— Вас сейчас же убьют, будьте уверены, — сказала она.

— Тогда... я вас боюсь... подвести... Вдруг придут... револьвер... кровь... там в шинели, — он облизал сухие губы. Голова его тонко кружилась от потери крови и от коньяку. Лицо женщины стало испуганным. Она призадумалась.

— Нет, — решительно сказала она, — нет, если бы нашли, то уже были бы здесь. Тут такой лабиринт, что никто не отыщет следов. Мы пробежали три сада. Но, вот, убрать нужно сейчас же...

Он слышал плеск воды, шуршанье материи, стук в шкафах...

Она вернулась, держа в руках за ручку двумя пальцами браунинг так, словно он был горячий, и спросила: «Он заряжен?»

Выпростав здоровую руку из под одеяла, Турбин ощупал предохранитель и ответил:

— Несите смело, только за ручку.

Она еще раз вернулась и смущенно сказала:

— На случай, если все-таки появятся... Вам нужно рейтузы снять... Вы будете лежать, я скажу, что вы мой муж, больной...

Он, морщась и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы. Она решительно подошла, стала на колени и из-под одеяла за штрипки вытащила рейтузы и унесла. Ее не было долго. В это время он видел арку. В сущности говоря, это были две комнаты. Потолки такие низкие, что если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал бы до них рукой. Там за аркой в глубине было темно, но бок старого пианино блестел лаком, еще что-то поблескивало и, кажется, цветы фикуса. А здесь опять этот край эполета в раме.

Боже, какая старина . . . Эполеты его приковали. Был мирный свет сальной свечки в шандале. Был мир и вот мир убит. Не возвратятся годы. Еще сзади окна низкие, маленькие, и сбоку окно. Что за странный домик. Она одна. Кто такая? Спасла... Мира нет... Стреляют там...

. .
.
.

Она вошла, нагруженная охапкой дров и с громом выронила их в углу печки.

— Что вы делаете? Зачем? — спросил он в сердцах.

— Все равно мне нужно было топить, — ответила она и чуть мелькнула у нее в глазах улыбка, — я сама топлю...

— Пойдите сюда, — тихо попросил ее Турбин. — Вот что, я и не поблагодарил вас за все, что вы... сделали... Да и чем... — он протянул руку, взял

ее пальцы, она покорно придвинулась, тогда он поцеловал ее худую кисть два раза. Лицо ее смягчилось, как будто тень тревога сбежала с него, и глаза ее показались в этот момент необычайной красоты.

— Если бы не вы, — продолжал Турбин, — меня бы, наверное, убили.

— Конечно, — ответила она, — конечно... А так вы убили одного...

Турбин приподнял голову.

— Я убил? — спросил он, чувствуя вновь слабость и головокружение.

— Угу. — Она благосклонно кивнула головой и поглядела на Турбина со страхом и любопытством. — Ух, как это страшно... они самое меня чуть не застрелили, — она вздрогнула...

— Как убил?

— Ну, да... Они выскочили, а вы стали стрелять, и первый грохнулся... Ну, может быть, ранили... Ну, вы храбрый... Я думала, что я в обморок упаду... Вы отбежите, стрельнете в них... и опять бежите... Вы, наверное, капитан?

— Почему вы решили, что я офицер? Почему кричали мне — «офицер»?

Она блеснула глазами.

— Я думаю, решишь, если у вас кокарда на папаше. Зачем так бравировать?

— Кокарда. Ах, Боже... это я... я... — Ему вспомнился звоночек... зеркало в пыли... — Все снял... а кокарду-то забыл... Я не офицер, — сказал он, — а военный врач. Меня зовут Алексей

Васильевич Турбин... Позвольте мне узнать, кто вы такая?

— Я — Юлия Александровна Рейсс.

Она ответила, как-то напряженно и отводя глаза в сторону:

— Моего мужа сейчас нет. Он уехал. И матери его тоже. Я одна... — помолчав она добавила: — здесь холодно... Брр... Я сейчас затоплю.

° °
°

Дрова загорались в печке и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, все сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжалась над левой бровью и посылала во все стороны кольца тугой отчаянной боли. Рейсс стояла на коленях у печки и кочергой шевелила в огне. Мучаясь, то закрывая, то открывая глаза, Турбин видел откинутую назад голову, заслоненную от жара белой кистью и совершенно неопределенные волосы, не то пепельные, пронизанные огнем, не то золотистые, а брови угольные и черные глаза. Не понять — красив ли этот неправильный профиль и нос с горбинкой. Не разберешь, что в глазах. Кажется, испуг, тревога, а может быть, и порок... Да, порок.

Когда она так сидит и волна жара ходит по ней, она представляется чудесной, привлекательной. Спасительница.

° °
°

Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в темя нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. — «У меня жар» — сухо и беззвучно повторил Турбин и внушал себе: «Надо утром встать и перебраться домой...» Гвоздь разрушал мозг и, в конце концов, разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. Все стало — все равно. Пэтурра... Пэтурра... Осталось одно, — чтобы прекратилась боль.

Глубокой же ночью, Рейсс в мягких, отороченных мехом туфлях пришла сюда и сидела возле него, и опять, обвив рукой ее шею и слабея, он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась с силами и сказала ему:

— Вы встаньте, если только можете. Не обращайтесь на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем... Ну, если не можете...

Он ответил:

— Нет, я пойду... только вы мне помогите...

Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и так же привела обратно. Ложась, лязгая зубами в ознобе и чувствуя, что сжалась и утихает голова, он сказал:

— Клянусь, я вам этого не забуду... Идите спать...

— Молчите, я буду вам гладить голову, — ответила она.

Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы, стекла с висков в ее мягкие руки, а по ним и по ее

телу — в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибла. Вместо боли по всему телу разливался ровный, приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как чугунная, поэтому он не шевелил ею, а лишь закрыл глаза и отдался на волю жара. Сколько времени он так пролежал, сказать бы он не сумел: может быть, пять минут, а может быть, и много часов. Но, во всяком случае, ему казалось, что так лежать можно было бы всю вечность, в огне. Когда он открыл глаза тихонько, чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел прежнюю картину: ровно, слабо горела лампочка под красным абажуром, разливая мирный свет, и профиль женщины был бессонный близ него. По-детски, печально оттопырив губы, она смотрела в окно. Плывая в жару, Турбин шевельнулся, потянулся к ней...

— Наклонитесь ко мне, — сказал он. Голос его стал сух, слаб, высок. Она повернулась к нему, глаза ее испуганно насторожились и углубились в тени. Турбин закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удивилась поступку Турбина. Она только пытливей вглядывалась в лицо. Потом заговорила.

— Ох, и жар же у вас. Что же мы будем делать. Доктора нужно позвать, но как же это сделать.

— Не надо, — тихо ответил Турбин, — доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой.

— Я так боюсь, — шептала она, — что вам, сделается плохо. Чем тогда я помогу. Не течет больше? — она неслышно коснулась забинтованной руки.

— Нет, вы не бойтесь, ничего со мной не сделается. Идите спать.

— Не пойду, — ответила она и погладила его по руке. — Жар, — повторила она.

Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар, живую и ясную теплоту ее тела.

— Лежите и не шевелитесь, — прошептала она, — а я буду вам гладить голову.

Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от виска по волосам. Ему стало так хорошо, что он думал только об одном, как бы не заснуть.

И, вот, он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке, что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно бледнеет, да бледнеет. Не только в домике, но во всем мире и Городе была полная тишина. Стеклянно жиденько-синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согретая и печальная, спала рядом с Турбиным. И он заснул.

• •
•

Утром, около 9-ти часов, случайный извозчик у вымершей Мало-Провальной принял двух седоков — мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский Спуск. Движения на Спуске не было. Только у под'езда № 13 стоял извозчик, только что высадивший странного гостя с чемоданом, узлом и клеткой.

5.

Они нашлись. Никто не вышел в расход и нашлись в следующий же вечер.

«Он» — отозвалось в груди Анюты и сердце ее прыгнуло, как Лариосикова птица. В занесенное снегом оконце Турбинской кухни осторожно постукали со двора. Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он, но без усов... Он... Анюта обоими руками пригладила черные волосы, открыла дверь в сени, а из сеней в снежный двор и Мышлаевский оказался необыкновенно близко от нее. Студенческое пальто с барашковым воротничком и фуражка... исчезли усы... Но глаза, даже в полутьме сеней можно было отлично узнать. Правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет, а левый темный... И меньше ростом стал...

Анюта дрожащею рукой закинула крючок, причем исчез двор, а полосы из кухни исчезли оттого, что пальто Мышлаевского обвило Анюту и очень знакомый голос шепнул:

— Здравствуйте, Анюточка... Вы простудитесь... А в кухне никого нет, Анюта?

— Никого нет, — не помня, что говорит, и тоже почему-то шопотом, ответила Анюта. — «Целует, губы сладкие стали», в сладостнейшей тоске подумала она и зашептала:

— Виктор Викторович... пустите... Елене...

— При чем тут Елена... — укоризненно шепнул голос, пахнувший о-де-колоном и табаком, — что вы, Анюточка...

— Виктор Викторович, пустите, закричу, как Бог свят, — страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлаевского, — у нас несчастье — Алексея Васильевича ранили...

Удав мгновенно выпустил.

— Как ранили? А, Никол?!

— Никол жив-здоров, а Алексея Васильевича ранили.

Полоска света из кухни, двери.

В столовой Елена, увидев Мышлаевского, заплакала и сказала:

— Витька, ты жив... Слава Богу... А вот у нас... — она всхлипнула и указала на дверь к Турбину, — сорок у него... скверная рана...

— Мать честная, — ответил Мышлаевский, сдвинув фуражку на самый затылок, — как же это он подвернулся?

Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над бутылкой и какими-то блестящими коробками.

— Вы доктор, позвольте узнать?

— Нет, к сожалению, — ответил печальный и тусклый голос, — не доктор. Разрешите представиться: Ларион Суржанский.

° °
°

Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не достигали к Турбину. Из спальни его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой бритый — молодой и, наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина учитель. Елена провожала их и лицо ее стало каменным. Говорили — тиф, тиф... и накликали.

— Кроме раны, — сыпной тиф...

И ртутный столб на 40 и... «Юлия»... В спальне красноватый жар. Тишина, а в тишине бормотанье про лесенку и звонок «бр-рынь»...

° °
°

— Здоровеньки булы, пане добродзю, — сказал Мышлаевский ядовитым шопотом и расставил ноги. Шервинский, густо красный, косил глазом. Черный костюм сидел на нем безукоризненно, глядела чудное белье и галстух бабочкой, на ногах лакированные ботинки. «Артист оперной студии Крамского». Удостоверение в кармане. — Чому ж це вы без погон?... — продолжал Мышлаевский.

«На Владимирской развеваются русские флаги... Две дивизии сенегалов в Одесском порту и сербские квартиры... Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части»... за ноги вашу мамашу!...

— Чего ты пристал? ... — ответил Шервинский, — я, что-ль виноват? ... При чем здесь я... Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска показались неприятельские цепи.

— Ты — герой, — ответил Мышлаевский, — но надеюсь, что его сиятельство, главнокомандующий, успел уйти раньше... Равно, как и его светлость, пан гетман... его мать... Лыцу себя надеждой, что он в безопасном месте. Родине нужны их жизни. Кстати, не можешь-ли ты мне указать, где именно они находятся?

— Зачем тебе?

— Вот зачем. — Мышлаевский сложил правую руку в кулак и постучал ею по ладони левой. — Ежели бы мне попало это самое сиятельство и светлость, я бы одного взял за левую ногу, а другого за правую, перевернул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор, пока мне это не надоело бы. А вашу штабную ораву в сортире нужно утопить...

Шервинский побагровел.

— Ну, все-таки ты поосторожней, пожалуйста, — начал он, — полегче... Имей в виду, что князь и штабных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, а остальные на произвол судьбы.

— Ты знаешь, что сейчас в Музее сидит тысяча человек ваших, голдовье с пулеметами... Ведь их петлюровцы, как клопов передушат... Ты знаешь, как убили полковника Ная... Единственный был...

— Отстань от меня, пожалуйста!... — не на шутку сердясь, крикнул Шервинский. — Что это за тон?... Я такой же офицер, как и ты!

— Ну, господа, бросьте, — Карась вклинился между Мышлаевским и Шервинским, — совершенно неленый разговор. — Что ты в самом деле лезешь к нему, ... Бросим, это ни к чему не ведет...

— Тише, тише, — горестно зашептал Николка, — к нему слышно...

Мышлаевский сконфузился, помялся.

— Ну, не волнуйся, баритон. Это я так... Ведь, сам понимаешь...

— Довольно странно...

— Позвольте, господа, потише... — Николка насторожился и потыкал ногой в пол. Все прислушались. Снизу из квартиры Василисы донеслись голоса. Глуховато расслышали, что Василиса весело рассмеялся и немножко истерически как будто. Как будто в ответ, что-то радостно и звонко прокричала Ванда. Потом поутихло. Еще немного и глухо побубнили голоса.

— Ну, вещь поразительная, — глубокомысленно сказал Николка, — у Василисы гости... Гости. Да еще в такое время. Настоящее светопредставление.

— Да, тип, ваш Василиса, — скрепил Мышлаевский.

° °
°

Это было около полуночи, когда Турбин, после вспрыскивания морфия уснул, а Елена расположилась в кресле у его постели. В гостиной составилась военный совет.

Решено было всем оставаться ночевать. Во-первых, ночью, даже с хорошими документами, ходить не к чему. Во-вторых, и тут Елене лучше — то да се... помочь. А, самое главное, что дома в такое времячко именно лучше не сидеть, а находиться в гостях. А, еще самое главное, и делать нечего. А вот винт составить можно.

— Вы играете? — спросил Мышлаевский у Лариосика.

Лариосик покраснел, смутился и сразу все выговорил, и что в винт он играет, но очень, очень плохо... Лишь бы его не ругали, как ругали в Житомире податные инспектора... Что он потерпел драму, но здесь, у Елены Васильевны, оживает душой, потому что это совершенно исключительный человек Елена Васильевна и в квартире у них тепло и уютно, в особенности замечательны кремовые шторы на всех окнах, благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира... А он, этот внешний мир... согласитесь сами, грязен, кровав и бессмысленен.

— Вы, позвольте узнать, стихи сочиняете? — спросил Мышлаевский, внимательно всматриваясь в Лариосика.

— Пишу, — скромно, краснея, произнес Лариосик.

— Так... Извините, что я вас перебил... Так бессмыслен, вы говорите... Продолжайте, пожалуйста...

— Да, бессмыслен, а наши израненные души ищут покоя, вот именно за такими кремовыми шторами...

— Ну, знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас в Житомире, а здесь в Городе, пожалуй, вы его не найдете... Ты щетку смочи водкой, а то пылись здорово. Свечи есть. Бесподобно. Мы вас выходящим в таком случае запишем... Впятером именно покойная игра...

— И Николка, как покойник, играет, — вставил Карась.

— Ну, что ты, Федя. Кто в прошлый раз под нечкой проиграл? Ты сам и пошел в ренонс. Зачем клеветать?

— Блакитный петлюровский крап...

— Именно за кремовыми шторами и жить. Все смеются, почему-то, над поэтами...

— Да храни Бог... Зачем же вы в дурную сторону мой вопрос приняли. Я против поэтов ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов...

— И других никаких книг, за исключением артиллерийского устава и первых 15 страниц римско-

го права... На шестнадцатой странице война началась, он и бросил...

— Врет, не слушайте... Ваше имя и отчество, Марион Иванович?

Лариосик объяснил, что он Ларион Ларионович, но что ему так симпатично все общество, которое даже не общество, а дружная семья, что он очень желал бы, чтобы его называли по имени «Ларион» без отчества... Если, конечно, никто ничего не имеет против.

— Как будто симпатичный парень... — шепнул сдержанный Карась Шервинскому.

— Ну, что ж... сойдемся поближе... Отчего ж... Врет: если угодно знать, «Войну и Мир» читал... Вот, действительно, книга. До самого конца прочитал и с удовольствием. А почему? Потому что писал не обормот какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десятка? Вы со мной... Карась с Шервинским... Николка, выходи.

— Только вы меня, ради Бога, не ругайте — как-то нервически попросил Лариосик.

— Ну, что вы, в самом деле. Что мы папуасы какие-нибудь? Это у вас, видно, в Житомире такие податные инспектора отчаянные, они вас и напугали... У нас принят тон строгий

— Помилуйте, можете быть спокойны, — отозвался Шервинский, усаживаясь.

— Две пики... Да-с... вот-с писатель был граф Лев Николаевич Толстой, артиллерии поручик... Жалко, что бросил служить... пасс... до

генерала бы дослужился... Впрочем, что ж, у него именно было... Можно от скуки и роман написать... зимой делать нечерта... В имении это просто. Без козыря...

— Три бубны, — робко сказал Лариосик.

— Пасс, — отозвался Карась.

— Что же вы? Вы прекрасно играете. Вас не ругать а хвалить нужно. Ну, если три бубны, то мы скажем — четыре пики. Я сам бы в имение теперь с удовольствием поехал...

— Четыре бубны, — подсказал Лариосику Николка, заглядывая в карты.

— Четыре? Пасс.

— Пасс.

При трепетном стеаринном свете свечей в дыму папирос, волнующийся Лариосик купил. Мышлаевский, словно гильзы из винтовки, разбросал партнерам по карте.

— М-малый в пиках, скомандовал он и поощрил Лариосика, — молодец.

Карты из рук Мышлаевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно, Карась — не везет, — хлестко. Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал, словно удостоверения личности.

— «Папа - мама», видали мы это, — сказал Карась.

Мышлаевский вдруг побагровел, швырнул карты на стол и зверски выкатив глаза на Лариосика, рявкнул:

— Какого же ты лешего мою даму долбанул? Ларион?!

— Здорово. Га-га-га, — хищно обрадовался Карась, — без одной!

Страшный гвалт поднялся за зеленым столом и языки на свечах закачались. Николка, шипя и взмахивая руками, бросился прикрывать дверь и задергивать портьеру.

— Я думал, что у Федора Николаевича король, — мертвея, вымолвил Лариосик.

— Как это можно думать. — Мышлаевский старался не кричать, поэтому из горла у него вылетало сипение, которое делало его еще более страшным, — если ты его своими руками купил и мне прислал? А? Ведь это, чорт знает, — Мышлаевский ко всем поворачивался, — ведь это... Он покоя ищет. А? А без одной сидеть это покой? Считанная игра! Надо, все-таки, вертеть головой, это же не стихи!

— Постой. Может быть, Карась...

— Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды. Вы извините, но, батюшка, может в Житомире так играют, но это, чорт знает, что такое. — Вы не сердитесь... но Пушкин или Ломоносов хоть стихи писали, а такую штуку никогда бы не устроили... или Надсон, например.

— Тише, ты. Ну, что налетел? Со всяким бывает.

— Я так и знал, — забормотал Лариосик... — мне не везет...

— Стой. Ст...

И разом наступила полная тишина. В отдалении за многими дверями в кухне затрепетал звонок. Помолчали. Послышался стук каблуков, раскрылись двери, появилась Анюта. Голова Елены мелькнула в передней. Мышлаевский побарабанил по сукну и сказал:

— Рановато, как будто? А?

— Да, рано, — отозвался Николка, считающийся самым сведущим специалистом по вопросу обысков.

— Открывать идти? — беспокойно спросила Анюта.

— Нет, Анна Тимофеевна, — ответил Мышлаевский, — повремените, — он кряхтя, поднялся с кресла, — вообще, теперь я буду открывать, а вы не затрудняйтесь...

— Вместе пойдем, — сказал Карась.

— Ну, — заговорил Мышлаевский и сразу поглядел так, словно стоял перед взводом, — так-с. Там, стало быть, в порядке... У доктора — сыпной тиф и прочее. Ты, Лена — сестра... Карась, ты за медика сойдешь — студента... Ушейся в спальню... Шприц там какой-нибудь возьми... Много нас. Ну, ничего...

Звонок повторился нетерпеливо, Анюта дернулась и все стали еще серьезнее.

— Успеется, — сказал Мышлаевский и вынул из заднего кармана брюк маленький черный револьвер, похожий на игрушечный.

— Вот это напрасно, — сказал, темнея, Шервинский, — это я тебе удивляюсь. Ты то мог бы быть поосторожнее. Как же ты по улице шел?

— Не беспокойся, — серьезно и вежливо ответил Мышлаевский, — устроим. Держи, Николка и играй к черному ходу или к форточке. Если петлюровские архангелы, закашляюсь я, сплавь, только чтоб потом найти. Вещь дорогая, под Варшаву со мной ездила... У тебя все в порядке?

— Будь покоен, — строго и гордо ответил специалист Николка, овладевая револьвером.

— Итак: — Мышлаевский ткнул пальцем в грудь Шервинского и сказал: — певец, в гости пришел, — в Карася — медик, в Николку — брат, — Лариосику — жилец-студент. Удостоверение есть?

— У меня паспорт царский, — бледнея сказал Лариосик, — и студенческий Харьковский.

— Царский под ноготь, а студенческий показать.

Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал.

— Прочие — чепуха. Женщины, — продолжал Мышлаевский, — ну, те-с, удостоверения у всех есть. В карманах ничего лишнего. — Эй, Ларион! — Спроси там у него, оружия нет ли?

— Эй, Ларион? — окликнул в столовой Николка, — оружие?

— Нету, нету, Боже сохрани, — откликнулся откуда-то Лариосик.

Звонок повторился отчаянный, долгий, нетерпеливый.

— Ну, Господи благослови, — сказал Мышлаевский и двинулся. Карсь исчез в спальне Турбина.

— Пасьянс раскладывали, — сказал Шервинский и задул свечи.

Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая из передней на лестницу, вторая стеклянная, замыкавшая собственно владение Турбиных. Внизу за стеклянной дверью темный холодный парадный ход, в котором выходила с боку дверь Лисовичей; а коридор замыкала уже последняя дверь на улицу.

— Кто там?

Вверху за своей спиной на лестнице почувствовал какие-то силуэты. Приглушенный голос за дверью взмолвился:

— Звонишь, звонишь... Тальберг - Турбина тут?... Телеграмма ей... Откройте...

«Тек-с», мелкнуло в голове у Мышлаевского и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез. Мышлаевский осторожно открыл болт, повернул ключ и открыл дверь, оставив ее на цепочке.

— Давайте телеграмму, — сказал он, становясь боком к двери, так, что она прикрывала его. Рука в сером просунулась и подала ему маленький конвертик. Пораженный Мышлаевский увидел, что это действительно телеграмма.

— Распишитесь, — злобно сказал голос за дверью.

Мышлаевский метнул взгляд и увидел, что на улице только один.

— Анюта, Анюта, — бодро, выздоровев от бронхита, вскричал Мышлаевский. — Давай карандаш.

Вместо Анюты к нему сбежал Карась, подал. На клочке, выдернутом из квадратика, Мышлаевский нацарапал: «Тур», шепнул Карасю: — Дай двадцать пять...

Дверь загремела... Заперлась...

Ошеломленный Мышлаевский с Карасем поднялись вверх. Сошлись решительно все. Елена развернула квадратик и машинально вслух прочла слова:

«Страшное несчастье постигло Лариосика точка Актер оперетки Липский...»

— Боже мой, — вскричал багровый Лариосик, — это она!

— 63 слова, — восхищенно ахнул Николка, — смотри, кругом исписано.

— Господи! — воскликнула Елена, — что же это такое? Ах извините, Ларион... Что начала читать. Я совсем про нее забыла...

— Что это такое? — спросил Мышлаевский.

— Жена его бросила, — шепнул на ухо Николка, — такой скандал...

Страшный грохот в стеклянную дверь, как обвал с горы, влетел в квартиру. Анюта ввизгнула.

Елена побледнела и начала клониться к стене. Грохот был так чудовищен, страшен, нелеп, что даже Мышлаевский переменялся в лице, Шервинский подхватил Елену, сам бледный... Из спальни Турбина слышался стон.

— Двери... — крикнула Елена.

По лестнице вниз, спутав стратегический план, побежали Мишлаевский, за ним Карась, Шервинский и на смерть испуганный Лариосик.

— Это уже хуже, — бормотал Мышлаевский.

За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот.

— Кто там? — загремел Мышлаевский, как в цейхгаузе.

— Ради Бога... Ради Бога... Откройте, Лисович — я... Лисович!! — вскричал Силуэт, — Лисович — я... Лисович...

Василиса был ужасен... Волосы с просвечивающей розовой лысинкой, торчали в бок. Галстух висел на боку и полы пиджака мотались, как дверцы взломанного шкафа. Глаза Василисы были безумны и мутны, как у отравленного. Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлаевскому. Мышлаевский принял его и еле удержал, сам присел к лестнице и сипло, растерянно крикнул:

— Карась! Воды...

Был вечер. Время подходило к 11 часам. По случаю событий, значительно раньше, чем обычно, опустела и без того не очень людная улица.

Шел жидкий снежок, пушинки его мерно летали за окном, а ветки акации у тротуара, летом темнившие окна Турбиных, все более обвисали в своих снежных гребешках.

Началось с обеда и пошел нехороший тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество зажглось почему-то в полсвета, а Ванда накормила за обедом мозгами. Вообще говоря, мозги пища ужасная, а в Вандином приготовлении — невыносимая. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василиса встал из-за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обедал вовсе. Вечером же была масса хлопот и все хлопот неприятных, тяжелых. В столовой стоял столовый стол кверху ножками и пачка Лебидь-Юрчиков лежала на полу.

— Ты дура, — сказал Василиса жене.

Ванда изменилась в лице и ответила:

— Я знала, что ты хам уже давно. Твое поведение в последнее время достигло геркулесовых столбов.

Василисе мучительно захотелось ударить ее со всего размаху косо по лицу так, чтоб она отлетела и стукнулась об угол буфета. А потом еще раз, еще и бить ее до тех пор, пока это проклятое, кост-

лявое существо не умолкает, не признает себя побежденным. Он — Василиса, измучен ведь, он в конце концов работает, как вол, и он требует, требует, чтобы его слушались дома. Василиса скрипнул зубами и сдержался, нападение на Банду было вовсе не так безопасно, как это можно было предположить.

— Делай так, как я говорю, — сквозь зубы сказал Василиса, — пойми, что буфет могут отодвинуть, и что тогда? А это никому не придет в голову. Все в городе так делают.

Ванда повиновалась ему, и они вдвоем взялись за работу — к столу с внутренней стороны кнопками прищипливали денежные бумажки.

Скоро вся внутренняя поверхность стола расцветилась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер.

Василиса, кряхтя, с налитым кровью лицом, поднялся и окинул взором денежное поле.

— Неудобно, — сказала Ванда, — понадобится бумажка, нужно стол переворачивать.

— И перевернешь, руки не отвалятся, — сипло ответил Василиса, — лучше стол перевернуть, чем лишиться всего. Слышала, что в городе делается. Хуже, чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут, все офицеров ищут.

В 11 часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета достала кулек с черствым хлебом и головку зеленого сыра. Лампочка, висящая над столом в

одном из гнезд трехгнездной люстры, источила с неполно накаленных нитей тусклый красноватый свет.

Василиса жевал ломтик французской булки и зеленый сыр раздражал его до слез, как сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался вместо рта на пиджак и за галстух. Не понимая, что мучает его, Василиса исподлобья смотрел на жующую Ванду.

— Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук, — говорила Ванда, обращая взор к потолку, — я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет, все вернулись и сейчас опять квартира полна офицерами...

В другое время слова Ванды не произвели бы на Василису никакого впечатления, но сейчас, когда вся его душа горела в тоске, они показались ему невыносимо подлыми.

— Удивляюсь тебе, — ответил он, отводя взор в сторону, чтобы не расстраиваться, — ты прекрасно знаешь, что в сущности они поступили правильно. Нужно же кому-нибудь было защищать город от этих (Василиса понизил голос) мерзавцев... И притом напрасно ты думаешь, что так легко сошло с рук... Я думаю, что он...

Ванда впилась глазами и закивала головой.

— Я сама, сама сразу это сообразила... Конечно, его ранили...

— Ну, вот, значит нечего радоваться «сошло, сошло»...

Ванда лизнула губы.

— Я не радуюсь, я только говорю «сошло», а вот мне интересно знать, если, не дай Бог, к нам явятся и спросят тебя, как представителя домового комитета, а кто у вас наверху? Были они у гетмана? Что ты будешь говорить?

Василиса нахмурился и покосился.

— Можно будет сказать, что он доктор... Наконец, откуда я знаю. Откуда?

— Вот, то-то, откуда...

На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула жилистую шею.

Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал:

— Знаешь что. Может быть сейчас сбегать к Турбиным, вызвать их?

Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился.

— Ах, Боже мой, — тревожно молвил Василиса, — нет, нужно идти.

Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. Открыли дверь из квартиры в общий корридор. Василиса вышел в корридор, пахнуло холодком, острое лицо Ванды с тревожными, расширенными глазами, выглянуло. Над ее головой в третий раз назойливо затрещало электричество в блестящей чашке.

На мгновение у Василисы пробежала мысль постучать в стеклянные двери Турбиных — кто-ни-

будь сейчас же вышел и не было бы так страшно. И он побоялся это сделать. А вдруг: «Ты чего стучал? А? Боишься чего-то?» и кроме того, мелькнула, правда, слабая надежда, что может быть это не они, а так что-нибудь...

— Кто... там? — слабо спросил Василиса у двери.

Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом, а под Вандой еще и еще затрещал звонок.

— Видчиняй, — хрипнула скважина, — из штабу. Та не отходи, а то стрельнем через дверь...

Ах, Бож... — вздохнула Ванда.

Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку.

— Скорийш... — грубо сказала скважина.

Темнота с улицы глянула на Василису куском серого неба, краем акаций, пушинками. Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше.

— С обыском, — ответил первый вошедший волчьим голосом и как-то сразу надвинулся на Василису. Корридор повернулся и лицо Ванды в освещенной двери показалось резко напудренным.

— Тогда, извините, пожалуйста, — голос Василисы звучал бледно, бескрасочно, — может быть мандат есть? Я собственно, мирный житель... не знаю, почему же ко мне. У меня — ничего, — Василиса мучительно хотел сказать по-украински и сказал — нема.

— Ну, мы побачимо, — ответил первый.

Как во сне двигаясь под напором хрустящих в двери, как во сне их видел Василиса. В первом человеке все было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями и небритые щеки запали сухими бороздками, он как-то страшно косил, смотрел иноходью и тут, даже в узком пространстве, успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой, привычного к снегу и траве существа. Он говорил на странном и неправильном языке — смеси русских и украинских слов — языке, знакомом жителям Города, бывающих в Подоле, на берегу Днепра, где летом оборванные люди выгружают с барж арбузы... На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал на бок.

Второй — гигант, занял почти до потолка переднюю Василисы. Он был румян бабьим полным и радостным румянцем, молод и ничего у него не росло на щеках. На голове у него был шлык с объединенными молью ушами, серая шинель и на неестественно маленьких ногах, ужасные скверные опорки.

Третий был с провалившимся носом, изъеденным с боку, гноеточащей коростой и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными, позеленевшими пу-

говицами, на ногах черные штаты, на ступнях лапти, поверх пухлых, серых казенных чулок. Его лицо в свете лампы отливало в два цвета — восково-желтый и фиолетовый, глаза смотрели страдальчески-злобно.

— Побачимо, побачимо, — повторил волк, — и мандат есть.

С этими словами он полез в карман штанов, вытащил смятую бумагу и ткнул ее Василисе. Один глаз его поразил сердце Василисы, а второй, левый, косой, проткнул бегло сундуки в передней.

На скомканном листке — четвертушке со штампом:

Штаб 1-го сичевого куреня.

было написано химическим карандашом ко-со крупными каракулями:

— Предписуется зробить обыск и жителя Василия Лисовича, по Алексеевскому спуску дом № 13. За сопротивление карается растрилом.

Начальник Штабу Проценко.

Адьютант Миклун.

В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать.

Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного в глазах Василисы и он сказал, пока волк вновь овладевал бумажкой:

— Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего...

Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом, браунинг и направил его на Василису. Ванда тихонько вскрикнула: «Ай». Лоснящийся от машинного масла кольт, длинный и стремительный, оказался в руке изуродованного. Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно.

— Кто в квартире? — сипловато спросил волк.

— Никого нету, — ответил Василиса белыми губами, — я та жинка.

— Ну те хлопцы, — смотрите, та швидче, — хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам, — нема часу.

Гигант тотчас тряхнул сундук, как коробку, а изуродованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались. Изуродованный кулаками постучал по стене, со стуком открыл заслонку, из черной дверцы ударило скуповатым теплом.

— Оружие е? — спросил волк.

— Честное слово . . . помилуйте, какое оружие . . .

— Нет у нас, — одним дыханием подтвердила тень Ванды.

— Лучше скажи, а то бачил расстрил? — внушительно сказал волк . . .

— Ей Богу . . . откуда же.

В кабинете загорелась зеленая лампа и Александр II-ой, возмущенный до глубины чугунной души, глянул на трех. В зелени кабинета Василиса в

первый раз в жизни узнал, как ходит, грозно вертя голову, предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками, легко, игрушечно, сбросил с полки ряд за рядом книги и шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их... Туп... туп... глухо постукивала стена. Тук, отозвалась внезапно пластинка в тейнике. Радость сверкнула в волчьих глазах.

— Що я казав? — шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта и он выдрал из стены пластинку. Бумажный перекрещенный пакет оказался в руках волка. Василиса пошатнулся и прислонился к стене. Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису.

— Что же ты, зараза, — заговорил он горько, — що ж ты? Нема, нема, ах ты, сучий хвост. Казал нема, а сам гроши в стенку запечатав. Тебя же убить треба!

— Что вы! — вскрикнула Ванда.

С Василисой что-то странное сделалось, вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом и смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки.

— Декрета, панове, помилуйте, никакого же не было. Тут кой-какие бумаги из банка и вещицы... Денег-то мало... Заработанные... Ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы...

Василиса говорил и смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение.

— Тебя заарестовать бы требовалось, — назидательно сказал волк, тряхнул пакетом и закинул его в бездонный карман рваной шинели. — Ну те, хлопцы, беритесь за ящики.

Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, портсигары. Листы усеяли зеленый ковер и красное сукно стола, листы, шурша, падали на пол. Урод перевернул корзину. В гостинной стучали по стенам поверхностно, как бы нехотя. Гигант сдернул ковер и потоптал ногами в пол, отчего на паркете остались замысловатые, словно выжженные следы. Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало веселый свет и блистал цветок грамофона. Василиса шел за тремя, волоча и шаркая ногами. Тупое спокойствие овладело Василисой и мысли его текли, как будто складнее. В спальне мгновенно — хаос: полезли из зеркального шкафа горбом, одеяла, простыни, кверху ногами встал матрас. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из под взбудораженной кровати глянули Василисины шевровые, новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису.

— Яки гарны ботинки, — сказал он тонким голосом, — а что они, часом, на мене не придутся?

Василиса не придумал еще что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнул.

— Они шевровые, панове, — сказал он, сам не понимая, что говорит.

Волк обернулся к нему, в косых глазах мелькнул горький гнев.

— Молчи, гнида, — сказал он мрачно. — Молчать! — повторил он, внезапно раздражаясь. — Ты спасибо скажи нам, що мы тебе не расстреляли, як вора и бандита за утайку сокровищ. Ты молчи, — продолжал он, наступая на совершенно бледного Василису и грозно сверкая глазами. — Накопил вещей, нажрал морду, розовый, як свинья, а ты бачишь, в чем добрые люди ходют? Бачишь? У него ноги мороженные, рваные, он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел, на грамофонах играл. У-у, матери твоей, — в глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху, он дернул рукой. Ванда вскрикнула: — «Что вы...» Волк не посмел ударить представительного Василису и только ткнул его кулаком в грудь. Бедный Василиса пошатнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака. «Вот так революция», — подумал он в своей розовой и аккуратной голове, — хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно...

— Василько, обувайсь, — ласково обратился волк к гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не налезли на серые, толстые чулки. — Выдай казаку носки, — строго обратился волк к Ванде. Та мгновенно присела к нижнему ящичку желтого шкафа и вынула носки. Ги-

тант сбросил серые чулки, показав ступни с красноватыми пальцами и черными из'единами и натянул носки. С трудом налезли ботинки, шнурок на левом с треском лопнул. Восхищенно, по детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал. И тотчас, как будто что лопнуло в натянутых отношениях этих странных пятерых человек, шаг за шагом шедших по квартире. Появилась простота. Изуродованный, глянув на ботинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисины брюки, висящие на гвоздике, рядом с умывальником. Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Василису, — не скажет ли чего, — но Василиса и Ванда ничего не говорили и лица их были совершенно одинаково белые с громадными глазами. Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в ключья изодранных подштанниках и рассматривал на свет брюки.

— Дорогая вещь, шевият... — гнусаво сказал он, присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил грязную гимнастерку на серый пиджак Василисы, причем вернул Василисе какие-то бумажки со словами: «Якись бумажки, берите, пане, може нужные». — Со стола взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно и черно красовались римские цифры.

Волк натянул шинель и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы.

— Часы нужная вещь. Без часов — як без рук, — говорил изуродованному волк, все более смягча-

ясь по отношению к Василисе, — ночью глянуть сколько времени — незаменимая вещь.

Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча, шли позади. В кабинете волк, кося глазами, о чем-то задумался, потом сказал Василисе:

— Вы, пане, дайте нам расписку... (какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой).

— Как? — шепнул Василиса.

— Расписку, що вы нам вещи выдали, — пояснил волк, глядя на землю.

Василиса изменился в лице, его щеки порозовели.

— Но как же... Я же... (он хотел крикнуть: «Как, я же еще и расписку?!» но у него не вышли эти слова, а вышли другие), вы... вам надлежит расписаться, так сказать...

— Ой, убить тебе треба, як собаку. У-у, кровопийца... Знаю я, что ты думаешь. Знаю. Ты, як бы твоя власть была, изничтожил бы нас, як насекомых, У-у, вижу я, добром с тобой не согласишь. — Хлопцы, ставь его к стенке. У, як вдарю...

Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным.

— Ай! — в ужасе вскрикнула Ванда и ухватила за руку волка, — что вы. Помилуйте... Вася, напиши, напиши...

Волк выпустил инженерово горло, и с хрустом в сторону отскочил, как на пружине, воротничек. Василиса сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись. Он оторвал от блокнота листок, макнул перо. Настала тишина и в тишине было слышно, как в кармане волка стучал стеклянный глобус.

— Как же писать? — спросил Василиса слабым, хрипловатым голосом.

Волк задумался, поморгал глазами.

— Пишить... по предписанию штаба сичевого куреня... вещи... вещи... в размере... у целости сдал...

— В разм... — как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк.

— ... Сдал при обыске. И претензий нияких не маю. И подпишить...

Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза:

— А кому?

Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодование и только вздохнул.

— Пишить: получив... получили у целости Не-моляка... (он задумался, посмотрел на уроды)... Кир-паты и отаман Ураган.

Василиса мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написав требуемое, вместо подписи поставил дрожащую «Василис», протянул бумагу волку. Тот взял листок и стал в него вглядываться.

В это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери, послышались шаги и грянул голос Мышлаевского.

Лицо волка резко изменилось, потемнело. Зашевелились его спутники. Волк стал бурым и тихонько крикнул: «ша». Он вытащил из кармана браунинг и направил его на Василису и тот страдальчески улыбнулся. За дверями в коридоре слышались шаги, перекликанья. Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь — запирали дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь, ушли ввысь замирающие шаги и все стихло. Урод вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно переглянулся с волком и все, теснясь, стали выходить в переднюю. Там, в передней, гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал:

— Холодно буде.

Он надел Василисины галоши.

Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами:

— Вы вот що, пане... Вы молчите, що мы были у вас. Бо як вы накапаете на нас, то вас наши хлопцы вьбют. С квартиры до утра не выходите, за це строга взыскується...

— Прощении просим, — сказал провалившийся нос, гнилым голосом.

Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису и искоса, радостно, на сияющие галоши. Шли они из двери Василисы по корридору к уличной двери, почему-то приподымаясь на цыпочки, быстро, толкаясь. Прогрели запоры, глянуло темное небо и Василиса холодными руками запер болты, голова его кружилась и мгновенно ему показалось, что он видит сон. Тотчас сердце его упало, потом заколотилось часто, часто. В передней рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнулась головой об стену, крупные слезы залили ее лицо.

— Боже! Что же это такое?.. Боже. Боже. Вася... Среди бела дня. Что же это делается...

Василиса трясся перед ней, как лист, лицо его было искажено.

— Вася, — вскричала Ванда, — ты знаешь... Это никакой штаб, ни полк, Вася! Это были бандиты!

— Я сам, сам понял, — бормотал Василиса, в отчаянии разводя руками.

— Господи! — вскрикнула Ванда, — нужно бежать скорей, сию минуту, сию минуту заявить, ловить их. Ловить. Царица небесная. Все вещи. Все! Все! И хоть бы ктонибудь, ктонибудь... Ах?.. — она затряслась, скатилась с сундука на пол, закрыла лицо руками. Волосы ее разметались, кофточка растегнулась на спине.

— Куда-ж, куда?.. — спрашивал Василиса.

— Боже мой, в штаб, в варту! Заявление подать. Скорей. Что ж это такое?!

Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял грохот.

° °
°

Все, кроме Шервинского и Елены толпились в квартире Василисы. Лариосик бледный стоял в дверях. Мышлаевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василисе.

— Пиши пропало. Что бандиты. Благодарите Бога, что живы остались. Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались.

— Боже... что они с нами сделали! — сказала Ванда.

— Они угрожали мне смертью.

— Спасибо, что угрозу не привели в исполнение. Первый раз такую штуку вижу.

— Чисто сделано, — тихонько подтвердил Карась.

— Что же теперь делать... — замирая спросил Василиса, — бежать жаловаться... Куда?.. Ради Бога, Виктор Викторович, посоветуйте.

Мышлаевский крикнул, подумал.

— Никуда я вам жаловаться не советую, — молвил он, — во первых их не поймают — раз. — Он загнул длинный палец, — во вторых...

— Вася, ты помнишь, они сказали, что убьют, если ты заявишь?

— Ну, это вздор, — Мышлаевский нахмурился, — никто не убьет, но, говорю, не поймают их, да и ловить никто не станет, а второе, — он загнул второй палец, — ведь вам придется заявить, что у вас взяли, вы говорите, царские деньги... Ну те-с, вы заявите там в Штаб этой ихней или куда там, а они вам, чего доброго, второй обыск устроят.

— Может быть, очень может быть, — подтвердил высокий специалист Николка.

Василиса растерзанный, облитый водой после обморока, поник головой, Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке, всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей, и выкатил мутные глаза.

— Чем же они были вооружены? — спросил он.

— Вот оно, у каждого свое горе, — прошептел Вася, у третьего ничего не было?

— Боже мой. У обоих револьверы, а третий... Николка.

— У двух револьверы, — слабо подтвердил Василиса.

— Какие, не заметили? — деловито добавил Николка.

— Ведь я ж не знаю, — вздохнув, ответил Василиса, — не знаю я систем. Один большой черный, другой маленький черный с цепочкой.

— Цепочка, — вздохнула Ванда.

Николка нахмурился и искоса, как птица, посмотрел на Василису. Он потоптался на месте, по-

том беспокойно двинулся и проворно отправился к двери. Лариосик поплелся за ним. Лариосик не достиг еще столовой, когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла и Николкин вопль. Лариосик устремился туда. В Николкиной комнате ярко горел свет, в открытую форточку несло холодом и зияла огромная дыра, которую Николка устроил коленями, сорвавшись с отчаяния с подоконника. Николкины глаза блуждали.

— Неужели? — вскричал Лариосик, вздымая руки, — это настоящее колдовство!

Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную, через кухню, мимо ошеломленной Анюты, кричащей: «Никол, Никол, куда ж ты без шапки? Господи, аль еще что случилось?..» И выскочил через сени во двор. Анята, крестясь, закинула в сени крючок, убежала в кухню и припала к окну, но Николка моментально пропал из глаз.

Он круто свернул влево, сбежал вниз и остановился перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между стенами. Сугроб был совершенно не тронут. «Ничего не понимаю», в отчаянии бормотал Николка и храбро кинулся в сугроб. Ему показалось, что он задохнется. Он долго месил снег, плевался и фыркал, прорвал, наконец, снеговую преграду и весь белый пролез в дикое ущелье, глянул вверх и увидал: вверху, там, где из рокового окна его комнаты выпадал свет, черными головками виднелись костыли и их остренькие густые тени, но коробки не было.

С последней надеждой, что может быть, петля оборвалась, Николка, поминутно, падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было.

Тут яркий свет осветил вдруг Николкину голову: «А-а», закричал с улицы. Он дополз и ткнул руками, доски отошли, глянула широкая дыра на черную улицу. Все понятно... Они отшили доски, ведущие в ущелье, были здесь и даже, п-о-нимаю, хотели залезть к Василисе через кладовку, но там решетка на окне.

Николка, весь белый, вошел в кухню молча.

— Господи, дай хоть почищу... — вскричала Анята.

— Уйди ты от меня, ради Бога, — ответил Николка и прошел в комнаты, обтирая заочеченные руки об штаны. — Ларион, дай мне по морде, — обратился он к Лариосику. Тот заморгал глазами, потом выкатил их и сказал:

— Что ты, Николаша? Зачем же так впадать в отчаяние? — он робко стал шаркать руками по спине Николки, и рукавом сбивать снег.

— Не говоря о том, что Алеша оторвет мне голову, если, даст Бог, поправится, — продолжал Николка, — но самое главное... Най-Турсов Кольт... Лучше б меня убили самого, ей Богу... Это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они с этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать, как

и покойничек. Так то-с. А вот не пускать, это дело другого рода.

— Угрожали выстрелить через дверь, Виктор Викторович, — задушевно сказал Василиса.

— Никогда бы не выстрелил, — отозвался Мышлаевский, гремя молотком, — ни в коем случае. Всю бы улицу на себя навлекли.

Позже ночью, Карась нежился в квартире Лисовичей, как Людовик XIV. Этому предшествовал такой разговор:

— Не придут же сегодня, что вы! — говорил Мышлаевский.

— Нет, нет, нет, — в перебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице, — мы умоляем, просим вас или Федора Николаевиче, просим... Что вам стоит. Ванда Михайловна чайком вас напоит. Удобно уложим. Очень просим и завтра тоже. Помилуйте, без мужчины в квартире!

— Я ни за что не засну, — подтвердила Ванда, кутаясь в пуховый платок.

— Коньячек есть у меня, — согреемся, — неожиданно залихватски как-то сказал Василиса.

— Иди, Карась, — сказал Мышлаевский.

Вследствие этого Карась и нежился. Мозги и суп с постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь симптомами той омерзительной болезни скупости, которой Василиса заразил свою жену. На самом деле в недрах квартиры скрывались сокровища и они были известны только одной

Ванде. На столе в столовой появилась банка с маринованными грибами, телятина, вишневое варенье и настоящий, славный коньяк Шустова с колоколом. Карась потребовал рюмку для Ванды Михайловны и ей налил.

— Не полную, не полную, — кричала Ванда.

Василиса, отчаянно махнул рукой, подчиняясь Карасю, выпил одну рюмку.

— Ты не забывай, Вася, что тебе вредно, — нежно сказала Ванда.

После авторитетного разъяснения Карася, что никому абсолютно не может быть вреден коньяк и что его дают даже малокровным с молоком, Василиса выпил вторую рюмку и щеки его порозовели и на лбу выступил пот. Карась выпил пять рюмок и пришел в очень хорошее расположение духа. «Если б ее откормить, она вовсе не так уж дурна», думал он, глядя на Ванду.

Затем Карась похвалил расположение квартиры Лисовичей и обсудил план сигнализации в квартиру Турбиных: один звонок из кухни, другой из передней. Чуть что — наверх звонок. И, пожалуйста, выйдет открывать Мышлаевский, это будет совсем другое дело.

Карась очень хвалил квартиру: и уютно, и хорошо меблирована и один недостаток — холодно.

Ночью сам Василиса притащил дров и собственноручно затопил печку в гостиной. Карась, раздевшись, лежал на тахте между двумя велико-

лепнейшими простынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо. Василиса в рубашке, в подтяжках пришел к нему и присел на кресло со словами:

— Не спится, знаете ли, вы разрешите с вами немного побеседовать.

Печка догорела, Василиса круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал и говорил:

— Вот-с как, Федор Николаевич. Все, что нажито упорным трудом в один вечер перешло в карманы каких-то негодяев... путем насилия... Вы не думайте, что я отрицал революцию, о нет, я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие все это.

Багровый отблеск играл на лице Василисы и застежках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном расслаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице вежливое внимание...

— Но, согласитесь сами. У нас в России, в стране несомненно наиболее отсталой, революция уже выродилась в пугачевщину... Ведь, что ж такое делается... Мы лишились в течение каких либо двух лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина. Англичане говорят...

— М-ме, англичане.. они, конечно, — проборотал Карась, чувствуя, что мягкая стена начинает отделять его от Василисы.

— ... А тут, какой же «твой дом твоя крепость», когда вы не гарантированы в собственной вашей квартире за семью замками от того, что чайка,

вроде той, что была у меня сегодня, не лишит вас не только имущества, но, чего доброго, и жизни?!

— На сигнализацию и на ставни наляжем, — не очень удачно, сонным голосом ответил Карась.

— Да, ведь, Федор Николаевич! Да, ведь дело, голубчик, не в одной сигнализации. Никакой сигнализацией вы не остановите того развала и разложения, которые свили теперь гнездо в душах человеческих. Помилуйте, сигнализация, частный случай, а предположим она испортится?

— Починим, — ответил счастливый Карась.

— Да, ведь, нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких либо там револьверах. Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай. Дело в том, что исчезло самое главное, уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли. Я убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой отец был простым десятником на железной дороге. Все, что вы видите здесь и все, что сегодня у меня отняли эти мошенники, все это нажито и сделано исключительно моими руками. И, поверьте, я никогда не стоял на страже старого режима, напротив, признаюсь вам по секрету, я кадет, но теперь, когда я своими глазами увидел, во что все это выливается, клянусь вам, у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно...

Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей Карася, донесся шопот... — Самодержавие. Да-с... Злейшая диктатура, какую можно только себе представить... Самодержавие...

«Эк разнесло его», — думал блаженный Карась.
— М-да самодержавие — штука хитрая. Эхе-мм..
— проговорил он сквозь вату.

— Ах, ду-ду-ду-ду-- хабеас корпус, ах, ду-ду-ду-ду... Ай, ду-ду... — бубнил голос через вату, — ай, ду-ду-ду, напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго, ай ду-ду-ду и восклицают многие лета. Нет-с! Многие лета это не продолжится, да и смешно было бы думать, что...

— Крепость Ивангород, — неожиданно перебил Василису покойный комендант в папахе,

— многая лета!

— И Ардаган и Карс, — подтвердил Карась в тумане,

— многая лета!

Реденький почтительный смех Василисы донесся издали

— «Многая лета»!! —

радостно спели голоса в Карасевой голове.

7.

Многая ле-те. Многая лета.

Много-о-о-о-га-ая л-е-е-те...

ле-е-е-т-а...

вознесли девять басов знаменитого хора Толмошевского.

Мн-о-о-о-о-о-о-о-гая л-е-е-е-е-та...

л-е-е-е-е-е-та...

разнесли хрустальные дисканты.

Многая... Многая... Многая...

рассыпаясь в сопрано ввинтил в самый купол хор.

— Бач Бач! Сам Петлюра...

— Бач Иван...

— У, дурень... Петлюра уже на площади...

Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свешивались с балюстрады между древними колоннами, расписанными черными фресками. Крутясь, волнуясь напирая, давя друг друга, лезли к баллюстраде, стараясь глянуть в бездну собора, но сотни голов, как желтые яблоки, висели тесным, тройным слоем. В бездне качалась душная тысячеголовая волна и на ней плыл, раскаляясь, пот и пар, ладанный дым, нагар сотен свечей, копоть тяжелых лампад на цепях. Тяжкая завеса серо-голубая, скрипя ползла по кольцам и закрывала резные, витые, векового металла темного и мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские врата. Огненные хвосты свечей в паникадилах, потрескивали, колыхались, тянулись дымной ниткой вверх. Им не хватало воздуха. В приделе алтаря была невероятная кутерьма. Из боковых алтарских дверей, по гранитным, истертым плитам сыпались золотые ризы, взмахивали орари. Лезли из круглых картонок фиолетовые камилавки, со стен, качаясь, снимались хоругви. Страшный бас протодиакона Серебрякова рычал, где то в гуще. Риза безголовая, безрукая, горбом витала над толпой, затем утонула в толпе, потом вынесло вверх один рукав ватной рясы, другой. Взмахивали клетчатые платки, свивались в жгуты.

— Отец Аркадий, щеки покрепче подвяжите, мороз лютый, позвольте я вам помогу.

Хоругви кланялись в дверях, как побежденные знамена,плыли коричневые лики и таинственные золотые слова, хвосты мело по полу.

— Посторонитесь

— Батюшки, куда ж?

— Манька! Задавят . . .

— О ком же? (бас, шопот). Украинской народной республике?

— А чорт ее знает . . . (шопот).

— Кто ни поп, тот батька . . .

— Осторожно . . .

Многая лета!!!!

зазвенел, разнесся по всему собору хор . . . Толстый, багровый Толмашевский угасил восковую, жидкую свечу и камертон засунул в карман. Хор, в коричневых до пят костюмах, с золотыми позументами, колыша белобрысыми, словно лысыми головенками дискантов, качаясь кадыками, лошадиными головами басов, потек с темных, мрачных хор. Лавинами из всех пролетов, густея, давя друг друга, закипел в водоворотах, зашумел народ.

Из придела выплывали стихари, обвязанные, словно от зубной боли, головы с растерянными глазами, фиолетовые, игрушечные, картонные шапки. Отец Аркадий, настоятель кафедрального собора, маленький щуплый человек, водрузивший сверх серого клетчатого платка самоцветами искрящую

митру, плыл, семена ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянные, тряслась борода.

— Крестный ход будет. Вали, Митька.

— Тише вы! Куда лезете? Попов подавите...

— Туда им и дорога.

— Православные!! Ребенка задавили...

— Ничего не понимаю...

— Як вы не понимаете, то вы б ишли до дому, бо тут вам робыть нема чого...

— Кошелек вырезали!!!

— Позвольте, они же социалисты. Так ли я говорю? При чем же здесь попы?

— Выбачайте.

— Попам дай синенькую, так они дьяволу обедню отслужат.

— Тут бы сейчас на базар, да по жидовским лавкам ударить. Самый раз...

— Я на вашей мови не размовляю.

— Душат женщину, женщину душат...

— Га-а-а-а... Га-а-а-а...

Из боковых заколонных пространств, с хор, со ступени на ступень, плечо к плечу, не повернуться, не шолохнуться, тащило к дверям, вертело. Коричневые с толстыми икрами скоморохи неизвестного века неслись, приплясывая и наигрывая на дудках, на старых фресках, на стенах. Через все проходы, в шорохе, гуле, несло полузадушенную, опьяненную углекислотой, дымом и ладаном толпу. То и дело в гуще вспыхивали короткие болезненные крики женщин. Карманные воры с черными кашне

работали сосредоточенно, тяжело, продвигая в слипшихся комках человеческого давленного мяса ученые виртуозные руки. Хрустели тысячи ног, шептала, шуршала толпа.

— Господи, Боже мой...

— Иисусе Христе... Царица небесная, матушка...

— И не рад, что пошел. Что же это делается.

— Чтоб тебя, сволочь, раздавило...

— Часы, голубчики, серебрянные часы, братцы родные. Вчера купил...

— Отлитургисали, можно сказать...

— На каком же языке служили, отцы родные, не пойму я?

— На божественном, тетка.

— От сторого заборонють, щоб не було бильш московской мови.

— Что ж это, позвольте, как же? Уж и на православном родном языке говорить не разрешается?

С корнями серьги вывернули. Пол-уха оборвали...

— Большевика держите, казаки! Шпиен! Большевицкий шпиен!

— Це вам не Россия, добродию.

— Ох, Боже мой, с хвостами... Глянь, в галунах, Маруся.

— Дур...но мне...

— Дурно женщине.

— Всем, матушка дурно. Всему народу чрезвычайно плохо. Глаз, глаз выдушите, не напирайте. Что вы взбесились, анафемы?!..

— Геть! В Россию! Геть с Украины!

— Иван Иванович, тут бы полиции сейчас наряды, помните, бывало в двенадцатые праздники.. Эх, хо, хо.

— Николая вам кровавого давай? Мы знаем, мы все знаем, какие мысли у вас в голове находятся.

— Отстаньте от меня, ради Христа. Я вас не трогаю.

— Господи, хоть бы выход скорей... Воздуху живого глотнуть.

— Не дойду. Помру.

Через главный выход напором перло и выпихивало толпу, вытерло, бросало, роняли шапки, гудели, крестились. Через второй боковой, где мгновенно выдавили два стекла, вылетел, серебряный с золотом, крестный, задавленный и ошалевший, ход с хором. Золотые пятна плыли в черном меси ве, торчали камилавки и митры, хоругви, наклонно вылезали из стекол, выпрямлялись и плыли торчком.

Был сильный мороз. Город курился дымом. Соборный двор, топтанный тысячами ног, звонко, непрерывно хрустел. Морозная дымка веяла в остывшем воздухе, поднималась к колокольне. Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную, вопя-

щую кутерьму. Маленькие колокола таякали, заливаясь, без ладу и складу, в перебой, точно сатана влез на колокольню, сам дьявол в рясе и, забавляясь, поднимал гвалт. В черные прорези многоэтажной колокольни, встречавшей некогда тревожным звоном косых татар, видно было, как метались и кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи. Мороз хрустел, курился. Расплавляло, отпускало душу на покаяние и черным-черно разливался по соборному двору народушко.

Старцы Божии, несмотря на лютый мороз, с обнаженными головами, то лысыми, как спелые тыквы, то крытыми дремучим оранжевым волосом, уже сели рядом по-турецки вдоль каменной дорожки, ведущей в великий пролет старо - софийской колокольни и пели гнусавыми голосами.

Слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о страшном суде, и лежали донышком книзу рваные картузы, и падали, как листья засаленные карбованцы и глядели из картузов трепанные гривны.

Ой, когда конец века искончается

А тогда страшный суд приближается...

Страшные, щиплющие сердца звуки пели с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками.

— Братики, сестрички, обратите внимание на убожество мое. Подайте, Христа ради, что милость ваша будет.

— Бегите на площадь, Федосей Петрович, а то опоздаем.

— Молебен будет.

— Крестный ход.

— Молебствие о даровании победы и одоления революционному оружию народной украинской армии.

— Помилуйте, какие же победы и одоление? Победили уже.

— Еще побеждать будут!

— Поход буде.

— Куды поход?

— На Москву.

— На какую Москву?

— На самую обыкновенную.

— Руки коротки.

— Як вы казали? Повторить, як вы казали? Хлопцы, слухайте що вин казав!

— Ничего я не говорил!

— Держи, держи его, вора, держи!!

— Беги, Маруся, через те ворота, здесь не пройдем. Петлюра, говорят, на площади. Петлюру смотреть.

— Дура, Петлюра в соборе.

— Сама ты дура. Он на белом коне, говорят, едет.

— Слава Петлюри. Украинской Народной Республики слава...

— Дон... дон... дон... Дон-дон-дон... Тирли-бом-бом. Дон-бом-бом — бесились колокола.

— Воззрите на сироток, православные граждане, добрые люди... Слепому... Убогому...

Черный, с обшитой кожей задом, как ломаный жук, цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полз безногий между ног. Калеки, убогие выставляли язвы на посиневших голенях, трясли головами, якобы в тике и параличе, закатывали белесые глаза, притворяясь слепыми. Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь степеней, скрипели, как колеса, стонали, были в гуще проклятые лиры.

Вернися, сиротко, далекий свит зайдешь...

Косматые, трясущиеся старухи с клюками, совали вперед изсохшие пергаментные руки, были:

— Красавец писанный. Дай тебе Бог, здоровечка.

— Барыня, пожалей старуху, сироту несчастную.

— Голубчики, милые, Господь Бог не оставит вас...

Салопницы на плоских ступнях, чуйки в чепцах с ушами, мужики в бараньих шапках, румяные девушки, отставные чиновники с пыльными следами кокард, пожилые женщины с выпяченными мысом животом, юркие ребята, казаки в шинелях, в шапках с хвостами цветного верха синего, красного, зеленого, малинового с галуном, золотыми и серебряными, с кистями золотыми с углов гроба, черным морем разливались по соборному двору, а

двери собора все источали и источали новые волны. На воздухе воспрянул духом, глотнул силы крестный ход, перестроился, потянулся и поплыли в стройном чине и порядке обнаженные головы в клетчатых платках, митры и камилавки, буйные гривы дьяконов, скуфьи монахов, острые кресты на золоченных древках, хоругви Христа Спасителя и Божьей Матери с младенцем, и поплыли разрезные, кованые, золотые, малиновые, писанные славянской вязью хвостатые полотнища.

То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам, — то сила Петлюры несметная на площадь старой Софии идет на парад.

Первой, взорвав мороз ревом труб, ударив блестящими тарелками, разрезав черную реку народа, пошла густыми рядами синяя дивизия.

В синих жупанах, в смокингах, лихо заломанных шапках с синими верхами, шли галичане. Два двухцветных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое сукно. За первым батальоном валяли черные в длинных халатах, опоясанных ремнями и в тазах на головах, и коричневая заросль штыков колючей тучей лезла на парад.

Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрелцов. Шли курени гайдамаков, пеших, курень за куренем, и, высоко танцую

в просветах батальонов, ехали в седлах brave полковые, куренные и ротные командиры. Уда-
лые марши, победные, ревущие, были золотом в
цветной реке.

За пешим строем, облегченной рысью, мелко прыгая в седлах, покатили конные полки. Ослепи-
тельно резнули глаза восхищенного народа мятые
заломленные папахи с синими, зелеными и красны-
ми шлыками с золотыми кисточками.

Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на
правые руки. Весело гремящие бунчуки метались
среди конного строя и рвались вперед от трубного
воя кони командиров и трубачей. Толстый, весе-
лый, как шар, Болбатун катил впереди куреня, под-
ставив морозу блестящий в сале низкий лоб и пух-
лые радостные щеки. Рыжая кобыла, кося крова-
вым глазом, жуя мундштук, роняя пену, поднима-
лась на дыбы, то и дело встряхивая шестипудового
Болбатуна и гремела, хлопая ножнами, кривая саб-
ля, и колол легонько шпорами полковник крутые
нервные бока.

Бо старшины з нами,
З нами, як з братами. —

разливаясь, на рыси пели и прыгали лихие гайда-
маки и трепались цветные оселедцы.

Трепля простреленным желто - блакитным зна-
менем, гремя гармоникой, прокатил полк черного
остроусого, на громадной лошади, полковника Ка-
зыря-Лепешки. Был полковник мрачен и косил
глазом, и хлестал по крупу жеребца плетью. Было

отчего сердиться полковнику — побили Най-Турсовы залпы в туманное утро на Брест-Литовской стреле лучшие Казырины взводы, и шел полк рысью и выкатывал на площадь сжавшийся, поредевший строй.

За Казырем пришел лихой, никем не битый черноморский конный курень имени гетмана Мазепы. Имя славного гетмана, едва не погубившего императора Петра под Полтавой, золотистыми буквами сверкало на голубом шелке.

Народ тучей обмывал серые и желтые стены домов, народ выпирал и лез на тумбы, мальчишки карабкались на фонари и сидели на перекладинах, торчали на крышах, свистали, кричали: ура... ура...

— Слава! Слава! — кричали с тротуаров.

Лепешки лиц громоздились в балконных и оконных стекол.

Извозчики, балансируя, лезли на козла саней, взмахивая кнутами.

— Ото казали банды... Вот тебе и банды. Ура!

— Слава! Слава Петлюри! Слава нашему Батько!

— Ур-ра...

— Маня, глянь, глянь... Сам Петлюра, глянь, на серой. Какой красавец...

— Що вы, мадам, це полковник.

— Ах, неужели? А где же Петлюра?

— Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы.

— Що вы, добродию, сдурели? Яких послов?

— Петлюра, Петр Васильевич, говорят (шопотом) в Париже, а, видали?

— Вот вам и банды... Меллиен войску.

— Где же Петлюра? Голубчики, где Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть.

— Петлюра, сударыня, сейчас на площади принимает парад.

— Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза.

— Якому президенту?! Чего вы, добродию, распространяете провокацию.

— Берлинскому президанту... По случаю республики...

— Видали. Видали. Який важный... Вин по Рыльскому переулку проехал у карети. Шесть лошадей...

— Виноват, разве они в архиреев верят?

— Я не кажу — верят — не верят... Кажу — проехал и больше ничего. Самы истолкуйте факт...

— Факт тот, что попы служат сейчас...

— С попами крепче...

— Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра...

Гремели страшные тяжкие колеса, тархтели ящички, за десятью конными куренями шла лен-

тами безконечная артиллерия. Везли тупые, толстые мортиры, катились тонкие гаубицы; сидела прислуга на ящиках, веселая, кормленная, победная, чинно и мирно ехали ездовые. Шли, напрягаясь, вытягиваясь, шестидюймовые, сытые кони, крепкие, круто-крупные и крестьянские, привычные к работе, похожие на беременных блох, коняки. Легко громыхала конно-горная легкая, и пушечки подпрыгивали, окруженные бравыми всадниками.

— Эх... эх... вот тебе и пятнадцать тысяч... Что же это наврали нам. Пятнадцать... бандит... разложение... Господи, не сочтешь. Еще батарея... еще, еще...

Толпа мяла и мяла Николку, и он, сунув птичий нос в воротник студенческой шинели, влез, наконец, в нишу в стене и там утвердился. Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась в нише и сказала Николке радостно:

— Держитесь за меня, панычу, а я за кирпич, а то звалимся.

— Спасибо, — уныло просопел Николка в заиндевевшем воротнике, — я вот за крюк буду.

— Де-ж сам Петлюра? — болтала словоохотливая бабенка, — ой, хочу побачить Петлюру. Кажуть, вин красавец неопиcуемый.

— Да, — промычал Николка неопределенно в барашковом мехе, — неопиcуемый. «Еще батарея... Вот, чорт... Ну, ну, теперь я понимаю»...

— Вин на автомобиле, кажутъ, проехав, — тут...
Вы не бачили?

— Он в Виннице, — гробовым и сухим голосом ответил Николка, шевеля замерзшими в сапогах пальцами. «Какого чорта я валенки не надел. Вот мороз».

— Бач, бач, Петлюра.

— Так який Петлюра, це начальник варты.

— Петлюра мае резиденцію в Билой Церкви. Теперь Била Церковь буде столицей.

— А в город они разве не придут, позвольте вас спросить?

— Придут своевременно.

— Так, так, так...

Лязг, лязг, лязг. Глухие раскаты турецких барабанов неслись с площади Софии, а по улице уже ползли, грозя пулеметами из амбазур, колыша тяжелыми башнями, четыре страшных броневика. Но румяного энтузиаста Страшкевича уже не было внутри. Лежал еще до сих пор не убранный и совсем уже не румяный, а грязно-восковой, неподвижный Страшкевич на Печерске, в Мариинском парке, тотчас за воротами. Во лбу у Страшкевича была дырочка, другая запекшаяся за ухом. Босые ноги энтузиаста торчали из-под снега, и глядел остеклевшими глазами энтузиаст прямо в небо сквозь кленовые голые ветки. Кругом было очень тихо, в парке ни живой души, да и на улице редко, кто показывался, музыка сюда не достигала от старой

Софии, поэтому лицо энтузиаста было совершенно спокойно.

Броневики, гудя, разламывали толпу, уплыли в поток туда, где сидел Богдан Хмельницкий и булавой, чернея на небе, указывал на северо-восток. Колокол еще плыл густейшей масляной волной по снежным холмам и кровлям города, и бухал, бухал барабан в гуще, и лезли остервеневшие от радостного возбуждения мальчишки к копытам черного Богдана. А по улицам уже гремели грузовики, скрипя цепями, и ехели на площадках в украинских кожухах, из-под которых торчали разноцветные плахты, ехали с соломенными венками на головах девушки и хлопцы в синих шароварах под кожухами, пели стройно и слабо...

А в Рыльском переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем:

— Ой, лышечко.

Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:

— Я знаю. Тримай их! Офицеры. Офицеры. Офицеры... Я их бачив в погонах!

Во взводе десятого куреня имени Рады, ожидавшего выхода на площадь, торопливо спешили хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки капитан Плешко:

— Я не офицер. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы. Я служащий в банке.

Хватили с ним рядом кого-то, тот белый, молчал и извивался в руках...

Потом хлынуло по переулку, словно из про-
рванного мешка, давя друг друга. Бежал ошале-
вший от ужаса народ. Очистилось место совершенно
белое с одним только пятном — брошенной чьей-то
шапкой. В переулке сверкнуло и трахнуло, и ка-
питан Плешко, трижды отрекшийся, заплатил за
свое любопытство к парадам. Он лег у палисадни-
ка церковного софийского дома навзничь, раски-
нув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги
и откинулся лицом в тротуар. И тотчас лягнули
тарелки с угла площади, опять попер народ, зашу-
мел, забухал оркестр. Резнул победный голос:
«Кроком рушь». И ряд за рядом, блестя хвостаты-
ми галунами, тронулся конный курень Рады.



Совершенно внезапно лопнул в прорезе между
куполами серый фон и показалось в мутной мгле
внезапно солнце. Было оно так велико, как ни-
когда еще никто на Украине не видал и совершенно
красно, как чистая кровь. От шара, с трудом сияю-
щего сквозь завесу облаков, мерно и далеко про-
тянулись полосы запекшейся крови и сукровицы.
Солнце окрасило в кровь главный купол Софии, а
на площадь от него легла странная тень, так что
стал в этой тени Богдан фиолетовым, а толпа мяту-

щегося народа еще чернее, еще гуще, еще смятеннее. И было видно, как по скале поднимались на лестницу серые, опоясанные лихими ремнями и штыками, пытались сбить надпись, глядящую с черного гранита. Но бесполезно скользили и срывались с гранита штыки. Скачущий же Богдан яростно рвал коня со скалы, пытаясь улететь от тех, кто навис тяжестью на копытах. Лицо его, обращенное прямо в красный шар, было яростно и попрежнему булавой он указывал в дали.

И в это время над грядущей, растекающейся толпой напротив Богдана, на замерзшую, скользкую чашу фонтана, подняли руки человека. Он был в темном пальто с меховым воротником, а шапку, несмотря на мороз, снял и держал в руках. Площадь попрежнему гудела и кишела, как муравейник, но колокольня на Софии уже смолкла и музыка уходила в разные стороны по морозным улицам. У подножия фонтана сбилась огромная толпа.

— Петька, Петька. Кого это подняли?...

— Кажись, Петлюра.

— Петлюра речь говорит...

— Що вы брешете... Це простой оратор...

— Маруся, оратор. Гляди... Гляди...

— Декларацию об'ясняют...

— Ни, це Универсал будут читать.

— Хай живе вильна Украина.

Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысячной гущи голов куда-то, где все явственнее вылезал солнечный диск и золотил густым, красным золотом кресты, взмахнул рукой и слабо выкрикнул: — Народу слава.

— Петлюра... Петлюра.

— Чего на фонтан Петлюра полезет?

— Петлюра в Харькове.

— Петлюра только что проследовал во дворец на банкет...

— Не брешить, никаких банкетов не буде.

— Слава народу! — повторял человек и тотчас прядь светлых волос прыгнула, соскочила ему на лоб.

— Тише!

Голос светлого человека окреп и был слышен ясно сквозь рокот и хруст ног, сквозь гуденье и прибой, сквозь отдаленные барабаны.

— Видели Петлюру.

— Как же, Господи, только что.

— Ах, счастливица. Какой он. Какой.

— Усы черные кверху, как у Вильгельма, и в шлеме. Да вот он, вон он, смотрите, смотрите, Марья Федоровна, глядите, глядите — едет...

— Що вы провокацію робите. Це начальник Геродской пожарной команды.

— Сударыня, Петлюра в Бельгии.

— Зачем же в Бельгию он поехал?

— Улаживать союз с союзниками...

— Та ни. Вин сейчас с эскортом поехал в Думу.

— Чого.

— Присяга...

— Он будет присягать?

— Зачем он. Ему будут присягать.

— Ну, я скорей умру (шопот), а не присягну...

— Та вам и не надо... Женщин не тронут.

— Жидов тронут, это верно...

— И офицеров. Всем им кишки повыпустят.

— И помещиков. Долой!!

— Тише!

Светлый человек с какой-то страшной тоской и в то же время решимостью в глазах, указал на солнце.

— Вы чулы громадяне, братцы и товарищи, — заговорил он, — як козаки пели: Бо старшины з нами, з нами як с братами. З нами. З нами воны! — человек ударил себя шапкой в грудь, на которой алел громадной. волней бант, — з нами. Бо тии старшины з народу, з ним родились, з ним умрут. З нами воны мерзли в снегу при облоге Города и вот, доблестно узяли его и прапор червонный уже висит над теми громадами...

— Ура!

— Який червонный? Що вин каже? Жовто-блакитный.

— У болшаков тэ ж червонный.

— Тише! Слава!

— А вин погано розмовляе на українській мови...

— Товарищи! Перед вами теперь новая задача — поднять и укрепить новую независимую Республику, для счастья всех трудящихся элементов — рабочих и хлеборобов, бо тільки вони, полившие своею свежою кровью и потом нашу рідну землю, мають право владеть ею!

— Верно! Слава!

— Ты слышишь, «товарищами» называет? Чудеса-а...

— Ти-ше.

— Поэтому, дорогие граждане, присягнем тут в радостный час народной победы, — глаза оратора начали светиться, он все возбужденнее простирает руки к густому небу и все меньше в его речи становилось украинских слов, — дадим клятву, що мы не зложим оружие, доки червонный прапор — символ свободы не буде развеваться над всем миром трудящихся.

— Ура! Ура! Ура!... Интер...

— Васька, заткнись. Что ты, сдурел?

— Щур, что вы, тише!

— Ей Богу, Михаил Семенович, не могу выдержать — вставай... прокл...

Черные онегинские баки скрылись в густом брововом воротнике и только видно было, как тревожно сверкнули в сторону восторженного самокатчика, сдавленного в толпе, глаза, до странности

похожие на глаза покойного прапорщика Шполянского, погибшего в ночь на 14-ое декабря. Рука в желтой перчатке протянулась и сдавила руку Щура...

— Ладно. Ладно, не буду — бормотал Щур, ведаясь глазами в светлого человека.

А тот уже, овладев собой и массой в ближайших рядах, вскрикивал:

— Хай живут советы рабочих, селянских и казачьих депутатов. Да здравствует...

Солнце вдруг угасло и на Софии и куполах легла тень; лицо Богдана вырезалось четко, лицо человека тоже. Видно было, как прыгал светлый кок над его лбом...

— Га-а. Га-а-а — зашумела толпа...

— ...советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Пролетарии всех стран, соединяйтесь...

— Как. Как. Что... Слава...

В задних рядах несколько мужских и один голос тонкий и звонкий, запели «Як умру, то...».

— Ур-ра! — победно закричали в другом месте. Вдруг вспыхнул водоворот в третьем.

— Тримай його! Тримай! — закричал мужской надтреснутый и злобный и плаксивый голос, — тримай. Це провокация. Большевик. Москаль. Тримай! Вы слухали, що вин казав...

Всплеснули чьи-то руки в воздухе. Оратор кинулся в бок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезла его голова, покрылась шапкой.

— Тримай! — кричал в ответ первому, второй тонкий тенор, — це фальшивый оратор. Бери его хлопцы, берить громадяне.

— Га, га, га. Стой! Кто? Кого поймали. Кого? Та никого!!!

Обладатель тонкого голоса рванулся вперед к фонтану, делая такие движения руками, как будто ловил скользкую большую рыбу. Но бестолковый Щур в дубленом полушубке и треухе завертелся перед ним с воплем «Тримай» и вдруг гаркнул:

— Стой, братцы, часы срезали!

Какой-то женщине отдавили ногу, и она взывала страшным голосом.

— Кого часы? Где? Врешь — не уйдешь!

Кто-то сзади обладателя тонкого голоса ухватил за пояс и придерживал, в ту минуту большая, холодная ладонь, разом и его нос и губы залепила тяжелой оплеухой фунта в полтора весом.

— Уп! — крикнул тонкий голос и стал бледный, как смерть и почувствовал, что голова его голая, что на ней нет шапки. В ту же секунду его адски резнула вторая оплеуха, и кто-то взвыл в небесах:

— Вот он, ворюга, марвихер, сукин сын. Бей его!!

— Що вы?! — взвыл тонкий голос, — що вы меня бьете?! Це не я! Не я! Це большевика держать треба! О-о! — завопил он.

— Ой, Боже мой, Боже мой, Маруся, бежим скорей, что же это делается.

В толпе близ самого фонтана завертелся и взбесился винт, и кого-то били, и кто-то выл, и народ раскидывало и, главное, оратор пропал. Так пропал чудесно, колдовски, что словно сквозь землю провалился. Кого-то вынесло из винта, а впрочем, ничего подобного, оратор фальшивый был в черной шапке, а этот выскочил в папахе. И через три минуты винт улегся сам собой, как будто его и не было, потому что нового оратора уже поднимали на край фонтана и со всех сторон слушать его лезли, наслаиваясь на центральное ядро, толпа мало-мало не в две тысячи человек.

° °
°

В белом переулке у палисадника, откуда любопытный народ уже хлынул вслед за расходящимся войском, смешливый Щур не вытерпел и с размаху сел на тротуар.

— Ой, не могу, — загремел он, хватаясь за живот. Смех полетел из него каскадами, при чем рот сверкал белыми зубами, — сдохну со смеху, как собака. Как же они его били, Господи Иисусе!

— Не очень-то рассказывайтесь, Щур, — сказал спутник его, неизвестный в бобровом воротнике, как две капли воды похожий на знаменитого покойного прапорщика и председателя Магнитного Триолета Шполянского.

— Сейчас, сейчас, — затормошился Щур, приподнимаясь.

— Дайте, Михаил Семенович, папироску, — сказал второй спутник Щура, высокий человек в черном пальто. Он заломил папаху на затылок и прядь волос светлая налезла ему на брови. Он тяжело дышал и отдувался, словно ему было жарко на морозе.

— Что? Натерпелись? — ласково спросил неизвестный, отогнул полу пальто и, вытащив маленький золотой портсигар, предложил светлому безмунштуковую немецкую папироску; тот закурил, поставив щитком руки от огонька на спичке и, только выдохнув дым, молвил:

— Ух. Ух.

Затем все трое быстро двинулись, свернули за угол и исчезли.

В переулочек с площади быстро вышли две студенческие фигуры. Один маленький, укладистый, аккуратный в блестящих резиновых галошах. Другой высокий, широкоплечий, ноги длинные циркулем и шагу чуть не в сажень.

У обоих воротники надвинуты до краев фуражек, а у высокого даже и бритый рот прикрыт кашнэ; немудрено — мороз. Обе фигуры словно по команде повернули головы, глянули на труп капитана Плешко и другой, лежащий ничком, уткнувшись в стороны разметанные колени, и ни звука не издав, прошли мимо.

Потом, когда из Рыльского студенты повернули к Житомирской улице, высокий повернулся к низкому и молвил хриловатым тенором:

— Видал-миндал. Видал, я тебя спрашиваю?

Маленький ничего не ответил, но дернулся так и так промычал, точно у него внезапно заболел зуб.

— Сколько жив буду, не забуду, — продолжал высокий, идя размашистым шагом, — буду помнить.

Маленький молча шел за ним.

— Спасибо, выучили. Ну, если когда-нибудь встретится мне эта самая каналья... гетман... — Из-под кашнэ послышалось сипение, — я его, — высокий выпустил страшное трехэтажное ругательство и не кончил. Вышли на Большую Житомирскую улицу и двум преградила путь процессия, направляющаяся к Старо-Городскому участку с каланчей. Путь ей с площади был, в сущности говоря, прям и прост, но Владимирскую еще запирала, не успевшая уйти с парада кавалерия, и процессия дала крюк, как и все.

Открывалась она стаяй мальчишек. Они бежали и прыгали задом и свистали пронзительно. Затем шел по истоптанной мостовой человек с блуждающими в ужасе и тоске глазами в расстегнутой и порванной бекеше и без шапки. Лицо у него было окровавлено, а из глаз текли слезы. Расстегнутый открывал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, мешая русские и украинские слова:

— Вы не маєте права! Я известный украинский поэт. Моя фамилия Горболаз. Я написал антоло-

гию украинской поэзии. Я жаловаться буду председателю Рады и министру. Це неописуемо!

— Бей его, стерву, карманщика, — кричали с тротуаров.

— Я, — отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все стороны, кричал окровавленный, — зробив попытку задержатъ большевика — провокатора...

— Что, что, что, — гремело на тротуарах.

— Кого это?!

— Покушение на Петлюру.

— Ну?!

— Стрелял, сукин сын, в нашего батько.

— Так вин же украинец.

— Сволочь он, не украинец, — бубнил чей-то бас, — кошельки срезал.

— Ф-юх, — презрительно свистали мальчишки.

— Что такое? По какому праву?

— Большевика провокатора поймали. Убить его, пададь, на месте.

Сзади окровавленного ползла взволнованная толпа, мелькал на папахе золотоголунный хвост и концы двух винтовок. Нёкто, туго перепоясанный цветным поясом, шел рядом с окровавленным развалистой походкой и изредка, когда тот особенно громко кричал, механически ударял его кулаком по шее; тогда злополучный арестованный, хотевший схватить неуловимое, умолкал и начинал бурно, но беззвучно рыдать.

Двое студентов пропустили процессию. Когда она отошла, высокий подхватил под руку низенького и зашептал злорадным голосом:

— Так его, так его. От сердца отлегло. Ну, одно тебе скажу, Карась, молодцы большевики. Клянусь честью — молодцы. Вот работа, так работа! Видал, как ловко орателя спланировали? И смелые. За что люблю — за смелость, мать их за ногу.

Маленький сказал тихо:

— Если теперь не выпить, повеситься можно.

— Это мысль. Мысль, — оживленно подтвердил высокий. — У тебя сколько?

— Двести.

— У меня полтора ста. Зайдем к Тamarке, возьмем полторы...

— Заперто.

— Откроет.

Двое повернули на Владимирскую, дошли до двухэтажного домика с вывеской:

«Бакалейная торговля», а рядом, «Погреб — замок Тамары». Нырнув по ступеням вниз, двое стали осторожно постукивать в стеклянную, двойную дверь.

8.

Заветной цели, о которой Николка думал все эти три дня, когда события падали в семью, как камни,

цели, связанной с загадочными последними словами распростертого на снегу, цели этой Николка достиг. Но для этого ему пришлось весь день перед парадом бегать по городу и посетить не менее девяти адресов. И много раз в этой беготне Николка терял присутствие духа и падал и опять поднимался и все-таки добился.

На самой окраине, в Литовской улице, в маленьком домишке он разыскал одного из второго отделения дружины и от него узнал адрес, имя и отчество Най.

Николка боролся часа два с бурными народными волнами, пытаясь пересечь Софийскую площадь. Но площадь нельзя было пересечь, ну, просто невысказано. Тогда около получаса потерял изыбший Николка, чтобы выбраться из тесных клещей и вернуться к исходной точке — к Михайловскому монастырю. От него по Костельной пытался Николка, дав большого крюку, пробраться на Крепцатик вниз, а оттуда окольными, нижними путями на Мало-Провальную. И это оказалось невозможным. По Костельной вверх, густейшей змеей шло, так же как и всюду, войско на парад. Тогда еще больший и выпускной крюк дал Николка и в полном одиночестве оказался на Владимирской горке. По террасам и аллеям бежал Николка, среди стен белого снега, пробираясь вперед. Попадал и на площадки, где снегу было уже не так много. С террас был виден в море снега, залегший напротив на горах Царский сад, а далее, влево, бесконечные чер-

ниговские пространства в полном зимнем покое за рекой Днепром — белым и важным в зимних берегах.

Был мир и полный покой, но Николке было не до покоя. Борясь со снегом, он одолевал и одолевал террасы одну за другой и только изредка удивлялся тому, что снег кое где уже топтан, есть следы, значит, кто-то бродит по Горке и зимой.

По аллее спустившись, наконец, Николка, облегченно вздохнул, увидел, что войска на Крещатике нет и устремился к заветному, искомому месту. «Мало-Провальная 21». Таков был Николкой добытый адрес и этот незаписанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу.



Николка волновался и робел... «Кого же и как спросить получше. Ничего неизвестно»... Позвонил у двери флигеля, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не откликались, но, наконец, зашлепали шаги и дверь приоткрылась немного под цепочкой. Выглянуло женское лицо в пенсне и суровато спросило из тьмы передней:

— Вам что надо?

— Позвольте узнать... Здесь живут Най-Турс?

Женское лицо стало совсем неприятливым и хмурым, стекла блеснули.

— Никаких Турс тут нету, — сказала женщина низким голосом.

Николка покраснел, смутился и опечалился...

— Это квартира 5...

— Ну да, — неохотно и подозрительно ответила женщина, — да вы скажите, вам что.

— Мне сообщили, что Турс здесь живут...

Лицо выглянуло больше и пытливо шмыгнуло по садику глазом, стараясь узнать, есть ли еще кто-нибудь за Николкой... Николка разглядел тут полный, двойной подбородок дамы.

— Да вам что... Вы скажите мне.

Николка вздохнул и, оглянувшись, сказал:

— Я насчет Феликса Феликсовича... у меня сведения.

Лицо резко изменилось. Женщина моргнула и спросила:

— Вы кто?

— Студент.

— Подождите здесь, — захлопнулась дверь и шаги стихли. Через полминуты за дверью застучали каблуки, дверь открылась совсем и впустила Николку. Свет проникал в переднюю из гостиной и Николка расглядел край пушистого мягкого кресла, а потом даму в пенсне. Николка снял фуражку и тотчас перед ним очутилась сухенькая другая невысокая дама, со следами увядшей красоты на лице. По каким-то незначительным и неопределенным чертам, не то на висках, не то по цвету волос, Николка сообразил, что это мать Ная и ужаснулся — как же он сообщит... Дама на него устремила

упрямый, блестящий взор и Николка пуще потерялся. Сбоку еще очутился кто-то, кажется, молодая и тоже очень похожая.

— Ну, говорите же, ну... — упрямо сказала мать...

Николка смял фуражку, взвел на даму глазами и вымолвил:

— Я... я...

Сухенькая дама — мать метнула в Николку взор черный и, как показалось ему, ненавистный, и вдруг крикнула звонко, так, что отозвалось сзади Николки в стекле двери.

— Феликс убит.

Она сжала кулаки, взмахнула ими перед лицом Николки и закричала:

— Убили... Ирина слышишь. Феликса убили.

У Николки в глазах помутилось от страха и он отчаянно подумал: «Я ж ничего не сказал... Боже мой». Толстая в пенсне мгновенно захлопнула за Николкой дверь. Потом быстро, быстро подбежала к сухенькой даме, охватила ее плечи и торопливо зашептала:

— Ну, Марья Францевна, ну, голубчик, успокойтесь... — Нагнулась к Николке, спросила: — Да может быть это не так... Господи... Вы же скажите... Неужели...

Николка ничего на это не мог сказать... Он только отчаянно глянул вперед и опять увидал край кресла.

— Тише, Марья Францевна, тише, голубчик... Ради Бога... Услышат... Воля Божья... — лепетала толстая.

Мать Най-Турса валилась навзничь и кричала:

— Четыре года! Четыре года! Я жду, все жду... Жду. — Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери и подхватила ее. Николке нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться.

° °
°

Окна завешаны шторами, в гостиной полумрак и полное молчание, в котором отвратительно пахнет лекарством...

Молчание нарушила, наконец, молодая — эта самая сестра. Она повернулась от окна и подошла к Николке. Николка поднялся с кресла, все еще держа в руках фуражку, с которой не мог разделиться в этих ужасных обстоятельствах. Сестра поправила машинально завиток черных волос, дернула ртом и спросила:

— Как же он умер...

— Он умер, — ответил Николка самым своим лучшим голосом, — он умер, знаете ли, как герой... Настоящий герой... Всех юнкеров во время прогнал, в самый последний момент, а сам, — Николка, рассказывая, плакал, — а сам их прикрыл огнем. И меня чуть-чуть не убили вместе с ним. Мы попали под пулеметный огонь, — Николка и плакал

и рассказывал в одно время, — мы... только двое остались и он меня гнал и ругал и стрелял из пулемета... Со всех сторон наехала конница, потому что нас посадили в западню. Положительно, со всех сторон.

— А вдруг его только ранили?

— Нет, — твердо ответил Николка и грязным платком стал вытирать глаза и нос и рот, — нет, его убили. Я сам его ощупывал. В голову попала пуля и в грудь.

Еще больше потемнело, из соседней комнаты не доносилось ни звука потому, что Мария Францевна умолкла, а в гостиной, тесно сойдясь, шепнулись трое — сестра Най — Ирина, та толстая в пенсне — хозяйка квартиры Лидия Павловна, как узнал Николка. И сам Николка.

— У меня с собой денег нет, — шептал Николка, — если нужно, я сейчас сбегая за деньгами и тогда поедем.

— Я денег дам сейчас, — гудела Лидия Павловна, — деньги-то это пустяки, только вы, ради Бога, добейтесь там. Ирина, ей ни слова не говори, где и что... Я прямо и не знаю, что и делать...

— Я с ним поеду, — шептала Ирина, — и мы добьемся. Вы скажете, что он лежит в казармах, и что нужно разрешение, чтобы его видеть.

— Ну, ну... Это хорошо... хорошо...

Толстая сейчас засемила и в соседнюю комнату, и оттуда послышался ее голос шепчущий,

убеждающий: — Мария Францевна, ну, лежите, ради Христа... Они сейчас поедут и все узнают. Это юнкер сообщил, что он в казармах лежит.

— На нарах... — спросил звонкий, и как показалось опять Николке, ненавистный голос.

— Что вы, Марья Францевна, в часовне он, в часовне...

— Может лежит на перекрестке, собаки его грызут.

— Ах, Марья Францевна, ну, что вы говорите... Лежит спокойно, умоляю вас...

— Мама стала совсем ненормальной за эти три дня... — зашептала сестра Няя и опять отбросила непокорную прядь волос и посмотрела далеко куда-то за Николку, — а впрочем теперь все вздор.

— Я поеду с ними, — раздалось из соседней комнаты... Сестра моментально встрепенулась и побежала.

— Мама, мама, ты не поедешь. Ты не поедешь. Юнкер отказывается хлопотать, если ты поедешь. Его могут арестовать. Лежи, лежи, я тебя прошу...

— Ну, Ирина, Ирина, Ирина, Ирина, — раздалось из соседней комнаты, — убили, убили его, а ты что ж? Что же?... Ты, Ирина... Что я буду делать теперь, когда Феликса убили. Убили... И лежит на снегу... Думаешь ли ты... — опять началось рыдание и заскрипела кровать и послышался голос хозяйки:

— Ну, Марья Францевна, ну бедная, ну, терпите, терпите...

— Ах, Господи, Господи, — сказала молодая и быстро пробежала через гостиную. Николка, чувствуя ужас и отчаяние, подумал в смятении. — «А как не найдем, что тогда»?

° °
°

У самых ужасных дверей, где, несмотря на мороз, чувствовался уже страшный тяжелый запах, Николка остановился и сказал:

— Вы, может быть, посидите здесь... А... А то там такой запах, что, может быть, вам плохо будет.

Ирина посмотрела на зеленую дверь, потом на Николку и ответила:

— Нет, я с вами пойду.

Николка потянул за ручку тяжелую дверь и они вошли. В начале было темно. Потом замелькали бесконечные ряды вешалок пустых. Вверху висела тусклая лампа.

Николка тревожно обернулся на свою спутницу, но та — ничего — шла рядом с ним, и только лицо ее было бледно, а брови она нахмурила. Так нахмурила, что напомнила Николке Най-Турса, впрочем сходство мимолетное — у Ная было железное лицо, простое и мужественное, а эта — красавица

и не такая, как русская, а, пожалуй, иностранка. Изумительная, замечательная девушка.

Этот запах, которого так боялся Николка, был всюду. Пахли полы, пахли стены, деревянные вешалки. Ужасен этот запах был до того, что его можно было даже видеть. Казалось, что стены жирные и липкие, а вешалки лоснящиеся, что полы жирные, а воздух густой и сытный, падалю пахнет. К самому запаху, впрочем, привыкнешь очень быстро, но уже лучше не присматриваться и не думать. Самое главное не думать, а то сейчас узнаешь, что значит тошнота. Мелькнул студент в пальто и исчез. За вешалками слева открылась со скрипом дверь и оттуда вышел человек в сапогах. Николка посмотрел на него и быстро отвел глаза, чтобы не видеть его пиджака. Пиджак лоснился, как вешалка, и руки человека лоснились.

— Вам, что? — спросил человек строго...

— Мы пришли, — заговорил Николка, — по делу, нам бы заведующего... Нам нужно найти убитого. Здесь он, вероятно?

— Какого убитого? — спросил человек и поглядел исподлобья...

— Тут вот на улице, три дня, как его убили...

— Ага, стало быть юнкер или офицер... И гайдамаки попадали. Он — кто?

Николка побоялся сказать, что Най Турс именно офицер и сказал так: — Ну да, и его тоже убили...

— Он офицер, мобилизованный гетманом, — сказала Ирина, — Най-Турс, — и подвинулась к человеку.

Тому было, повидимому, все равно, кто такой Най-Турс, он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и плюя на пол:

— Я не знаю, як тут быть. Занятия уже кончены и никого в залах нема. Другие сторожа ушли. Трудно искать. Очень трудно. Бо трупы перенесли в нижние кладовки. Трудно, дуже трудно...

Ирина Най расстегнула сумочку, вынула денежную бумажку и протянула сторожу. Николка отвернулся, боясь, что честный человек сторож будет протестовать против этого. Но сторож не протестовал...

— Спасибо, барышня, — сказал он и оживился, — найти можно. Только разрешение нужно. Если профессор дозволит, можно забрать труп.

— А где же профессор... — спросил Николка.

— Они здесь, только они заняты. Я не знаю... доложить?...

— Пожалуйста, пожалуйста, доложите ему сейчас же, — попросил Николка, — я его сейчас же узнаю, убитого...

— Доложить можно, — сказал сторож и повел их. Они поднялись по ступенькам в корридор, где запах стал еще страшнее. Потом по корридору, потом влево и запах ослабел и посветлело, потому что корридор был под стеклянной крышей. Здесь и

справа и слева двери были белы. У одной из них сторож остановился, постучал, потом снял шапку и вошел. В коридоре было тихо, и через крышу сеялся свет. В углу вдали начинало смеркаться. Сторож вышел и сказал:

— Зайдите сюда.

Николка вошел туда, за ним Ирина Най... Николка снял фуражку и разглядел первым делом черные пятна лоснящихся штор в огромной комнате, и пучек страшного острого света, падавшего на стол, а в пучке черную бороду и изможденное лицо в морщинах и горбатый нос. Потом, подавленный, оглянулся по стенам. В полутьме поблескивали бесконечные шкафы и в них мерещились какие-то уроды темные и желтые, как страшные китайские фигуры. Еще вдали увидал высокого человека в жреческом кожанном фартуке и черных перчатках. Тот склонился над длинным столом, на котором стояли, как пушки, светлея заркалами и золотом в свете спущенной лампочки, под зеленым тюльпаном, микроскопы.

— Что вам? — спросил профессор...

Николка по изможденному лицу и этой бороде узнал, что он именно профессор, а тот жрец меньше — какой-то помощник.

Николка кашлянул, все глядя на острый пучок, который выходил из лампы, странно изогнутой — блестящей и на другие вещи — на желтые пальцы от табаку, на ужасный отвратительный предмет, лежащий перед профессором — человеческую шею и

подбородок, состоящие из жил и ниток, утыканных, увешанных десятками блестящих крючков и ножниц...

— Вы родственники? — спросил профессор. У него был глухой голос, соответствующий изможденному лицу и этой бороде. Он поднял голову и прищурился на Ирину Най, на ее меховую шубку и ботинки.

— Я его сестра, — сказала Най, стараясь не смотреть на то, что лежало перед профессором.

— Вот видите, Сергей Николаевич, как с этим трудно. Уж не первый случай... Да, может, он еще и не у нас. В чернорабочую, ведь возили трупы?

— Возможно, — отозвался тот высокий и бросил какой-то инструмент в сторону...

— Федор! — крикнул профессор...

° ° °

— Нет, вы туда... Туда вам нельзя... Я сам... — робко молвил Николка...

— Сомлеете, барышня, — подтвердил сторож, — здесь, — добавил он, — можно подождать.

Николка отвел его в сторону, дал ему еще две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет. Сторож, пытая горячей махоркой, вынес табурет откуда-то, где стояли зеленая лампа и скелеты.

— Вы не медик, панычу? Медики, те привыкают сразу, — и открыв большую дверь, щелкнул выключателем. Из комнаты шел тяжелый запах. Цинковые столбы белели рядами. Они были пусты и где-то со стуком падала вода в раковину. Под ногами гулко звенел каменный пол. Николка, страдающая от запаха, оставшегося здесь, должно быть, навеки, шел, стараясь не думать. Они со сторожем вышли через противоположные двери в совсем темный корридор, где сторож зажег маленькую лампу, затем прошли немного дальше. Сторож отодвинул тяжелый засов, открыл чугунную дверь и опять щелкнул. Холодом обдало Николку. Громадные цилиндры стояли в углах черного помещения и доверху так, что выпирало из них, были полны кусками и обрезками человеческого мяса, лоскутами кожи, пальцами, кусками раздробленных костей. Николка отвернулся, глотая слюну, а сторож сказал ему:

— Понюхайте, панычу.

Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестерпимую резь — запах нашатырю из склянки.

Как в полусне Николка, сощутив глаз, видел вспыхнувший огонек в трубке Федора и слышал сладостный дух горячей махорки. Федор возился долго с замком у сетки лифта, открыл его и они с Николкой стали на платформу. Федор дернул ручку и платформа пошла вниз, скрипя. Снизу тянуло ледяным холодом. Платформа стала. Вошли в огромную кладовую. Николка мутно видел то, чего

он никогда не видел. Как дрова в штабелях, один на других, лежали головы, источающие несносный, душащий человека, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, заоченевшие или ослабленные торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и разметанными волосами, а груди их были мятыми, жеванными в синяках.

— Ну, теперь будем ворочить их, а вы глядите, — сказал сторож, наклоняясь. Он ухватил за ногу труп женщины и она, скользкая, со стуком сползла, как по маслу, на пол. Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел глаза от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой и глядел в стороны. Его мучило и голова кружилась при мысли, что нужно будет разворачивать всю эту многослитную груду слипшихся тел.

— Не надо. Стойте, — слабо сказал он Федору и сунул склянку в карман, — вон он. Нашел. Он сверху. Вон, он.

Федор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не поскользнуться на полу, ухватил Най-Турса за голову и сильно дернул. На животе у Ная ничком лежала плоская, широкобедрая женщина и в волосах у нее тускло, как обломок стекла, светился в затылке дешевенький, забытый гребень. Федор ловко, попутно выдернул его, бросил в карман фартука и перехватил Ная под мышки. Голова того, вылезая со штабеля, размоталась, свисла и острый,

небритый подбородок, задрался кверху, одна рука соскользнула.

Федор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а бережно, под мышки, сгибая уже расслабленное тело, повернул его так, что ноги Ная загребли по полу, к Николке лицом и сказал:

— Вы смотрите — он? — Чтобы не было ошибки...

Николка глянул Наю прямо в глаза, открытые, стеклянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди, животу расплылись и застыли темные широкие пятна, вероятно, крови.

— Он, — сказал Николка.

Федор так же под мышки втащил Ная на платформу лифта и опустил его к ногам Николки. Мертвый раскинул руки и опять задрал подбородок. Федор взошел сам, тронул ручку и платформа ушла вверх.

° °
°

В ту ночь в часовне все было сделано так, как Николка хотел и совесть его была совершенно спокойна, но печальна и строга. При анатомическом театре в часовне, голой и мрачной, посветлело. Гроб какого-то неизвестного в углу закрыли крышкой и тяжелый, неприятный и страшный чужой покойник сосед не смущал покоя Ная. Сам Най значительно стал радостнее и повеселел в гробу.

Най обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми, Най чистый во френче без погон, Най с венцом на лбу под тремя огнями и, главное, Най с аршином пестрой георгиевской ленты, собственноручно Николкой уложенной под рубаху на холодную его вязкую грудь. Старуха мать от трех огней повернула к Николке трясущуюся голову и сказала ему:

— Сын мой. Ну, спасибо тебе.

И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом, над двором анатомического театра была ночь, снег и звезды крестами и белый млечный путь.

9.

Турбин стал умирать днем 22-го декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. В особенности, этот отблеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натертого совместными усилиями Анюты, Николки и Лариосика, бесшумно шаркавших накануне. Так же веяло Рождеством от переплетиков лампадок, начищенных Аютиными руками. И, наконец, пахло хвоей и зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами...

Я за сестру...

Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твердыми шагами и молча прошла через столовую, где в совершенном молчании сидели Карась, Мышлаевский и Лариосик. Ни один из них не шевельнулся при ее проходе, боясь ее лица. Елена закрыла дверь к себе в комнату, а тяжелая портьера тотчас улеглась неподвижно.

Мышлаевский шевельнулся.

— Вот, — сильным шопотом промолвил он, — все хорошо сделал командир, а Алешку-то неудачно пристроил...

Карась и Лариосик ничего к этому не добавили. Лариосик заморгал глазами и лиловатые тени разлеглись у него на щеках.

— Э... чорт, — добавил еще Мышлаевский, встал и покачиваясь, подобрался к двери, потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены. — Слушайте, ребята, вы посмотрите... А то...

Он потоптался и вышел в книжную, там его шаги замерли. Через некоторое время донесся его голос и еще какие-то странные ноющие звуки из Николкиной комнаты.

— Плачет, Никол, — отчаянным голосом прошептал Лариосик, вздохнул, на цыпочках подошел к Елениной двери, наклонился к замочной скважине, но ничего не разглядел. Он беспомощно оглянулся на Карася, стал делать ему знаки, беззвучно

спрашивать. Карась подошел к двери, помялся, но потом стукнул все-таки тихонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал:

— Елена Васильевна, а Елена Васильевна...

— Ах, не бойтесь вы, — донесся глуховато Еленин голос из-за двери, — не входите.

Карась отпрянул и Лариосик тоже. Они оба вернулись на свои места — на стулья под печкой Саардама и затихли.

Делать Турбиным и тем, кто с Турбиными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там и так стало тесно от трех мужчин. Это был тот золотоглазый медведь, другой молодой бритый и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача, и, наконец, третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и турбинской семье нерадостные вести, сразу, как только он появился 16-го декабря. Он все понял и тогда же сказал, что у Турбина тиф. И сразу, как-то сквозная рана у подмышки левой руки отошла на второй план. Он же час всего назад, вышел с Еленой в гостиную и там, на ее упорный вопрос, вопрос не только с языка, но и из сухих глаз и потрескавшихся губ и развитых прядей, сказал, что надежды мало, и добавил, глядя в Еленины глаза, глазами очень, очень опытного и всех поэтому жалеющего человека, — «очень мало». Всем хорошо известно и Елене тоже, что это означает, что надежды вовсе никакой нет и, значит, Турбин умирает. После этого Елена прошла в спальню к брату и долго стояла, глядя

ему в лицо и тут отлично и сама поняла, что значит, нет надежды. Не обладая искусством седого и доброго старика можно было знать, что умирает доктор Алексей Турбин.

Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и не прочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки и нос его изменился, утончился и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели и стало ей туманно-тоскливо в гнойном камфорном, сытном воздухе спальни. Но это быстро прошло.

Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем и дышал он с присвистом, через оскаленные зубы притягивая липкую, не влезающую в грудь, струю воздуха. Давно уже не было у него сознания и он не видел и не понимал того, что происходило вокруг него. Елена постояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул:

— Вы видите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать.

Елена повиновалась и сейчас вышла. Но профессор ничего не стал больше делать.

Он снял халат, вытер влажными ватными шарми руки и еще раз посмотрел в лицо Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа.

— Безнадежен, — очень тихо сказал на ухо бритому профессору, — вы, доктор Бродович, оставайтесь возле него.

— Камфору? — спросил Бродович шопотом.

— Да, да, да.

— По шприцу.

— Нет, — глянул в окно, подумал, — сразу по три грамма. И чаще. — Он подумал, добавил: — вы мне телефонируйте в случае несчастного исхода, — такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу бреда и тумана не воспринял их, — в клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции.

° °
°

Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них 24-го декабря в сумерки, а вечером дробящимися, теплыми огнями зажигались в гостинной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф, все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова наклоненная на бок, глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский, беззвучный день, а в углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер. Елена слезла со стула, сбро-

сила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевого паркета и, молча, положила первый земной поклон.

В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам: — Помирает... — набрал воздуха.

— Вот что, — заговорил Мышлаевский, — не позвать ли священника. А, Никол?... Что ж ему так-то, без покаяния...

— Лене нужно сказать, — испуганно ответил Николка, — как же без нее. И еще с ней что-нибудь сделается...

— А что доктор говорит? — спросил Карась.

— Да что тут говорить. Говорить более нечего, — просипел Мышлаевский.

Они долго тревожно шептались и слышно было, как вздыхал бледный отуманенный Лариосик. Еще раз ходили к доктору Бродовичу. Тот выглянул в переднюю, закурил папиросу и прошептал, что это агония, что, конечно, священника можно позвать, что ему это безразлично, потому что больной все равно без сознания и ничему это не повредит.

— Глухую исповедь...

Шептались, шептались, но не решились позвать, а к Елене стучали, она через дверь глухо ответила: — «уйдите пока... я выйду»...

И они ушли.

Елена с колен исподлобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шопотом:

— Слишком много горя сразу посылаешь, Мать-заступница. Так в один год и кончаешь семью. За что... Мать взяла у нас, мужа у меня нет, и не будет, это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшего отнимаешь. За что?... Как мы будем вдвоем с Николом?... Посмотри, что делается кругом, ты посмотри... Мать-заступница, неужто ж не сжалишься... Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать-то.

Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и, вновь простирая руки, стала просить:

— На тебя одна надежда, Пречистая Дева. На тебя. Умоли Сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо...

Шопот Елены стал страстным, она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывна, шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтоб сбить назад выскочившую на глаза изпод гребенки прядь. День исчез в квадратах окон, исчез и белый сокол, неслышным прошел плещущий гавотт в 3 часа дня и совершенно неслышным пришел тот, к кому через заступничество смуглой Девы взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась,

на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом, всей душой вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже жестокого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами, день темнел страшно быстро и еще раз возникло видение — стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, маслячные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор.

— Мать-заступница, — бормотала в огне Елена, — упроси Его. Вон Он. Что же Тебе стоит. Пожалей нас. Пожалей. Идут твои дни, Твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает Он, да и тебя умоляю за грехи. Пусть Сергей не возвращается... Отымаешь, отымай, но этого смертью не карай... Все мы в крови повинны, но ты не карай. Не карай. Вон Он, вон Он...

Огонь стал дробиться и один цепочный луч протянулся длинно, длинно к самым глазам Елены. Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лице, окаймленном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце, она сникла к полу и больше не поднималась.

По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога, на дыпочках, через столовую пробежал кто-то. Еще кто-то поцарапался в дверь, возник шопот: «Елена... Елена... Елена...» Елена, вытирая тылом ладони холодный скользкий лоб, отбрасывая прядь поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий угол, с совершенно стальным сердцем прошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой и Никол предстал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпятились на Елену в ужасе, ему не хватало воздуха.

— Ты знаешь, Елена... ты не бойся... не бойся... иди туда... кажется...

Доктор Алексей Турбин, восковой, как ломанная, мятая в потных руках свеча, выбросив из под одеяла костистые руки с нестриженными ногтями, лежал, задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезах рубахи. Он свел голову к низу, уперся подбородком в грудину, расцепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза. В них еще колыхалась рваная завесь тумана и бреда, но уже в ключьях черного глянул свет. Очень слабым голосом, сильным и тонким, он сказал:

— Кризис, Бродович. Что... выживу... Ага.

Карась в трясущихся руках держал лампу и она освещала вдавленную постель и комья простынь с серыми тенями в складках.

Бритый врач не совсем верной рукой сдвинул в щипок остатки мяса, вкалывая в руку Турбину иглу маленького шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был взволнован и потрясен.

10.

Пэтурра. Было его жития в Городе 47 дней. Пролетел над Турбиным закованный в лед и снегом запорошенный январь 1919-го года, подлетел февраль и завертелся в метели.

2-го февраля по Турбинской квартире прошла черная фигура, с бритой головой, прикрытой черной шелковой шапочкой. Это был сам воскресший Турбин. Он резко изменился. На лице, у углов рта, повидимому, навсегда присохли две складки, цвет кожи восковой, глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и мрачными.

В гостиной Турбин, как 47 дней тому назад, прижался к стеклу и слушал, и как тогда, когда в окнах виднелись теплые огонечки, снег, опера, мягко слышны были дальние пушечные удары. Сурово сморщившись, Турбин всею тяжестью тела налет на палку и глядел на улицу. Он видел, что дни колдовски удлинились, свету было больше, не-

смотря на то, что за стеклом и валиалсь, рассыпаясь миллионами хлопьев, вьюга.

Мысли текли под шелковой шапочкой, суровые, ясные, безрадостные. Голова казалась легкой, опустевшей, как бы чужой на плечах коробкой и мысли эти приходили, как будто извне и в том порядке, как им самим было желательно. Турбин рад был одиночеству у окна и глядел...

Пэтурра... Сегодня ночью, не позже, свершится, не будет больше Пэтурры... А был ли он?.. Или это мне все снилось? Неизвестно, проверить нельзя. Лариосик очень симпатичный. Он не мешает в семье, нет, скорее нужен. Надо его поблагодарить за уход... А Шервинский? А, чорт его знает... Вот наказание с бабами. Обязательно Елена с ними свяжется, всенепременно... А что хорошего? Разве, что голос? Голос превосходный, но, ведь голос, в конце концов, можно и так слушать, не вступая в брак, не правда ли... Впрочем, неважно. А что важно? Да, тот же Шервинский говорил, что они с красными звездами на папах... Вероятно, жуть будет в Городе? О, да... Итак, сегодня ночью... Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам... Тем не менее я пойду, пойду днем... И отнесу... «Брынь. Тримай. Я убийца. Нет, я застрелил в бою. Или подстрелил... С кем она живет? Где ее муж? Брынь. Малышев. Где он теперь. Провалился сквозь землю. А Максим... Александр I-й?

Текли мысли но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты, все ушли в Город, торопясь кончить всякие дела засветло.

— Если это пациент, прими, Анюта.

— Хорошо, Алексей Васильевич.

Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в передней снял пальто с козьим мехом и прошел в гостиную.

— Пожалуйте, — сказал Турбин.

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет.

— Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

— У меня сифилис, — хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина и прямо, и мрачно.

— Лечились уже?

— Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало.

— Кто направил вас ко мне?

— Настоятель церкви Николая Доброго, отец Александр.

— Как?

— Отец Александр.

— Вы что же, знакомы с ним?

— Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение, — объяснил посетитель, глядя в небо. — Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне Богом за

мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом взгляделся в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексy. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

— Вот что, — сказал Турбин, отбрасывая молоток, — вы человек, повидимому, религиозный.

— Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь ему. Единственному прибежищу и утешителю.

— Это, конечно, очень хорошо, — отозвался Турбин, не спуская глаз с его глаз, — и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс. А в вашем состоянии это вредно. Вам нужны воздух, движение и сон.

— По ночам я молюсь.

— Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.

Больной покорно опустил глаза.

Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру.

— Кокаин нюхали?

— В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.

«Чорт его знае... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный.

— Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще, поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам вспрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание.

— Хорошо, доктор.

— Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщин тоже...

— Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей, — говорил больной, застегивая рубашку, — злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.

— Батюшка, нельзя так, — застонал Турбин, — ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?

— Я говорю про его предтечу Михаила Семёновича Шполянскаго, человека с глазами змеи и с черными баками. Он уехал в царство антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища ангелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...

— Это вы большевиков ангелами? Согласен. Но все-таки так нельзя... Вы бром будете пить. По столовой ложке 3 раза в день...

— Он молод. Но мерзости в нем, как в тысячетлетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним.

— Троцкого?

— Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.

— Серьезно вам говорю, если вы не прекратите это, вы, смотрите... у вас мания развивается...

— Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?

— Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой». Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня, оставьте задаток.

— Очень хорошо.

Френч расстегнулся.

— У вас, может быть, денег мало, — пробурчал Турбин, глядя на потертые колени, «нет, он не жулик... нет... но свихнется».

— Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по своему человечество.

— И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.

— Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там, — больной вдохновенно указал в беленький потолок. — А сейчас ждут нас всех

испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.

— Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.

— Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя, — бормотал больной, напяливая козий мех в передней, — ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.

«Где-то я уже слышал это... Ах, ну, конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу — прелесть».

— Убедительно советую, поменьше читайте апокалипсис... Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться. Завтра в 6 часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста...



— Вы не откажитесь принять это... Мне хочется, чтобы спасшая мне жизнь, хоть что-нибудь на память обо мне... это браслет моей покойной матери...

— Не надо... Зачем это... Я не хочу, — ответила Рейсс и рукой защищалась от Турбина, но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжелый, кованный и темный браслет. От этого рука еще более похорошела и вся Рейсс показалась еще красивее... Даже в сумерках было видно, как розовеет ее лицо.

Турбин не выдержал, правой рукой обнял Рейсс за шею, притянул ее к себе и несколько раз поцеловал ее в щеку... При этом выронил из ослабевших рук палку и она со стуком упала у ножки стола.

— Уходите... — шепнула Рейсс, — пора... Пора. Обозы идут на улице. Смотрите, чтоб вас не тронули.

— Вы мне милы, — прошептал Турбин. — Позвольте мне притти к вам еще.

— Придите...

— Скажите мне, почему вы одни и чья это карточка на столе? Черный, с баками.

— Это мой двоюродный брат... — ответила Рейсс и потупила свои глаза.

— Как его фамилия?

— А зачем вам?

— Вы меня спасли... Я хочу знать.

— Спасла и вы имеете право знать? Его зовут Шполянский.

— Он здесь?

— Нет, он уехал... В Москву. Какой вы любопытный.

Что-то дрогнуло в Турбине и он долго смотрел на черные баки и черные глаза... Неприятная со-
сущая мысль задержалась дольше других, пока он изучал лоб и губы председателя Магнитного Триолета. Но она была неясна... Предтеча. Этот несчастный в козьем меху... Что беспокоит? Что

— Угу, — ответил Турбин, поднял воротник пальто, скрылся в нем и до самого дома не произнес более ни одного звука.



Обедали, в этот важный и исторический день у Турбиных все — и Мышлаевский с Карасем, и Шервинский. Это была первая общая трапеза с тех пор, как лег раненый Турбин. И все было по прежнему, кроме одного — не стояли на столе мрачные, знойные розы, ибо давно уже не существовало разгромленной конфектницы Маркизы, ушедшей в неизвестную даль, очевидно, туда, где покоится и мадам Анжу. Не было и погон ни на одном из сидевших за столом, и погоны уплыли куда-то и растворились в метели за окнами.

Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Аня. Аня пришла из кухни и прислонилась к дверям.

— Какие такие звезды? — мрачно спрашивал Мышлаевский.

— Маленькие, как кокарды, пятиконечные, — рассказывал Шервинский, — на папах. Тучей, говорят, идут... Словом, в полночь будут здесь...

— Почему такая точность: в полночь...

Но Шервинскому не удалось ответить, — почему, так как после звонка в квартире появился Василиса.

Василиса, кланяясь направо и налево, и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Чорт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли», — подумал Николка и мысленно пофилософствовал: — «Может быть, денги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные».

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. Хе, хе. Как это у вас уютно всё так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик у двери, и вот оно. «Счел своим долгом. Честь имеет кланяться». Василиса, подпригивая, попрощался.

Елена ушла с письмом в спальню...

«Письмо из-за границы? Да, неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое. И как оно пришло. Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия то эта самая, тоже в поезде едет. Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь,

такое письмо дойдет, найдет адресата. Вар... Варшава, Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так не хорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой, серенькой бумаги, лежал в пучке света.

—...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве — он уезжает в Париж, вместе с семьей Гертц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят»...

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она и спросил:

— От Тальберга?

Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал до конца, потом еще раз обращение прочитал:

— Дорогая Леночка, не знаю дойдет-ли...

У него на лице заиграли различные краски. Так — общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные.

— С каким бы удовольствием... — процедил он сквозь зубы, — я б ему по морде с'ездил...

Кому? — спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слезы.

— Самому себе, — ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин, — за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

— Сделай ты мне такое одолжение, — продолжал Турбин, — убери ты к чортовой матери вот эту штуку, — он рукоятью ткнул в портрет на столе. Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабьи заревела, трясая плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадочка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну, что ж... не сердись... не сердись, Матерь Божия», подумала суеверная Елена. Турбин испугался:

— Тише, ну, тише... услышат они, что хорошего.

Но в гостиной не слышали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш: «Двуглавый Орел», и слышался смех.

11.

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й, но 1919-й был его страшней.

В ночь со второго на третье февраля у входа на Цепной Мост через Днепр, человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренный бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто и каждому удару отвечало сипло:

— Ух... а.

— А, жидовская морда! — иступленно кричал пан куренный, — к штабелям его, на расстрел. Я тебе покажу, як по темным углам ховаться. Я т-тебе покажу. Что ты робив за штабелем? Шпион!..

Но окровавленный не отвечал яростному пану куренному. Тогда пан куренной забежал спереди

и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей, блестящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло, черный не ответил уже... ух... Повернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной и унавоженной земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в темной луже несколько раз дернулся, лежащий в судороге и стих.

Над поверженным шипел электрический фонарь у входа на мост, вокруг поверженного метались встревоженные тени гайдамаков с хвостами на головах, а выше было черное небо, с играющими звездами.

И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над Слободкой под Городом вдруг разорвалась в замершей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила.

Вслед звезде черная даль за Днепром, даль ведущая к Москве, ударила громом тяжело и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

И точас синяя гайдамацкая дивизия тронулась с моста и побежала в Город, через город и навеки вон.

Следом за синей дивизией, волчьей побейкой прошел на померзших лошадях курень Козыря Лешко, проплясала какая-то кухня... потом исчезло

все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в черном у входа на Мост, да топтанные хлопья сена, да конский навоз.

И только труп и свидетельствовал, что Пётурра не миф, что он действительно был... Дзынь... Трень... гитара, турок... коварный на Бронной фонарь... девичьи косы, метущие снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи, мороз... Значит было.

Ой, Гриц, до работы...

В Грице порваны чоботы...

А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли ктонибудь за кровь?

Нет. Никто.

Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю... выйдут пышные всходы... задрожит зной над полями и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях и никто выкупать ее не будет.

Никто.

° ° °

С вечера жарко натопили Саардамские изразцы и до сих пор до глубокой ночи печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с Саардамского Плотника и осталась только одна:

...Лен... я взял билет на Аид...

Дом в Алексеевском спуске, дом накрытый шапкой белого генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась в тенях.

За окнами расцветала все победоноснее студеная ночь и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжимаясь и расширяясь и особенно высоко в небе была звезда красная и пятиконечная — Марс.

В теплых комнатах поселились сны.

Турбин спал в своей спальне и сон висел над ним, как размытая картина. Плыл, качаясь, вестибюль и император Александр I-й жег в печурке списки дивизиона... Юлия прошла и поманила и засмеялась, проскакали тени, кричали — Тримай, Тримай.

Беззвучно стреляли и пытался бежать от них Турбин, но ноги прилипали к тротуару на Мало-Провальной и погибал во сне Турбин. Проснулся со стоном, услышал храп Мышлаевского из гостиной, тихий свист Караса и Лариосика из книжной, Вытер пот со лба, опомнился, слабо улыбнулся, потянулся к часам.

Было на часиках три.

— Наверно ушли... Пэтурра... Больше не будет никогда.

И вновь уснул.



Ночь расцветала. Тянуло уже к утру и погребенный под мохнатым снегом спал дом. Истерзанный Василиса почивал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Васи-

лиса сон нелепый и круглый. Будто бы никакой революции не было, все была чепуха и вздор. Во сне сомнительное, зыбкое счастье наплывало на Василису. Будто бы лето и вот, Василиса купил огород. Моментально выросли на нем овощи. Грядки покрылись веселыми завитками и зелеными шишами в них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое, заходящее солнышко, почесывая живот, и бормотал.

— Так-то оно лучше. А то революция. Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить нельзя...

Тут Василисе приснились взятые круглые, глобусом, часы: Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко часов, но солнышко так приятно сияло, что жалости не получалось.

И вот, в этот хороший миг какие-то розовые, круглые поросята влетели в огород и тотчас пятчковыми своими мордами взрыли грядки. Фон-танами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собирался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные — у них острые клыки. Они стали на скакивать на Василису, при чем подпрыгивали на аршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне. Черным боковым косяком накрыло поросят, они провалились в землю и перед Василисой всплыла черная, сыроватая спальня...

° °
°

Ночь расцветала. Сонная дрема прошла над Городом, мутной, белой птицей пронеслась, минуя сторонкой крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станицы Дарницы и задержалась над ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо, до колес, были зажаты площадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вываливался огненный плат, разлегая на рельсах и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенках, тупое рыло его молчало и щурилось в приднепровские леса. С последней площадки в высь черную и синюю целилось широченное дуло в глухом наморднике верст на двенадцать и прямо в полночный крест.

Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму и светилась в ней осовевшими от вечернего грохота глазками желтых огней. Суeta на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком, желтом бараке телеграфа три окна горели ярко и слышался сквозь стекла не прекращающийся стук трех аппаратов. По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях и черных бушлатах. В стороне от бронепоезда и сзади растянувшись, не спал, переключался и гремел дверями теплушек эшелон.

А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона, ходил, как маятник.

человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать ребенка и рядом с ним ходила меж рельсами под скупым фонарем по снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверски, но по-человечески озяб. Руки его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными пальцами в рвани рукавов, ища убежища. Из окаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый, обмороженный рот, глядели глаза в снежных космах ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные.

Человек ходил методически, свесив штык и думал только об одном, когда же истечет, наконец, морозный час пытки и он уйдет с озверевшей земли во внутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие эшелоны, где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться. Человек и тень ходили от огненного всплеска броневое брюха к темной стене первого боего ящика до того места, где чернела надпись:

Бронепоезд «Пролетарий».

Тень, то вырастая, то уродливо горбатясь, неизменно остроголовая, рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны, не грея и дразня, горели на платформе. Человек искал, хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его; стиснув зубы,

и теряя надежду согреть пальцы, шевеля ими неуклонно, рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сияющую в небе впереди под Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остновившись, мгновенно и прозрачно засыпал и черная стена бронепоезда не уходила из этого сна, не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ним присоединялись новые. Выростал во сне небосвод невиданный. Весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге и братски наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд и вместо нее вырастала в снегах, зарытая деревня Малые Чугры. Он, человек у околицы Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк.

— Жилин? — говорил беззвучно, без губ мозг человека и тотчас грузный сторожевой голос в груди выстукивал три слова:

Пост... часовой... замерзнешь...

Человек, уже совершенно нечеловеческим усилием отрывал винтовку, вскидывая на руку, шатнувшись, отдирает ноги и шел опять.

Вперед — назад. Вперед — назад. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная.

° °
.

Металась и металась потревоженная дрема. Летом вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала над Подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном, каменном здании, в квартире библиотекаря в узенькой, как дешевый номер дешевенькой гостиницы, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом, кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.

«И увидал я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них и судим был каждый по делам своим.

— — — — —

и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет.»

По мере того, как он читал потрясающую книгу, ум его остановился, как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.

Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, корридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе и в мире он дошел до слов:

...слезу с очей их и смерти не будет,
уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже
не будет, ибо прежнее прошло.

° °
°

Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно улыбались.

— Я демон — сказал он, щелкнув каблуками.
— а он не вернется, Тальберг, — и я пою вам...

Он вынул из кармана огромную, сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клубов

выходило ярко кукольным. Он пел пронзительно, не так, как на яву:

— Жить, будем жить!!

— А смерть придет, помирать будем.

Пропел Николка и вышел.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умирает и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи.

— Николка. О, Николка?

И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи.

И ночь все плыла.

И, наконец, Петька Щеглов во флигеле, видел сон.

Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни Демонем. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. От удовольствия расхохотался в ночи. И ему весело стре-

котал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные легкие и радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню, где то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую ночь в семье.

Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающего мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки и они поступали на завесе и целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла — слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останутся на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?

К о н е ц .

1923 - 1924 г. г.

г. Москва.

